
Владимир АЛЕЙНИКОВ

ТОЛЬКО РЕЧЬ

Проза поэта

...Осень моя незабвенная давнего шестьдесят третьего года, осень привольная, золотая, светом с небес залитая удивительно ясным, праздничным, волшебным, чистым, целебным, когда я впервые долго жил в Москве, совершенно один, без всякой опеки, свободно, расправляя крылья, как птица, залетевшая вдруг в столицу из провинции, с Украины, из далеких скифских степей, стала, само собою, для меня, совсем еще юного в ту пору, да просто мальчишки, если на то пошло, но только мальчишки с талантом, как люди считали, особенным, таким, который встречается редко, во все времена, осень моя далекая, говорю я сегодня, стала для меня той важнейшей гранью, за которой уже начиналась новая, с изумлением неизменным перед распахнутым слуху и зрению миром, с новизною всех ощущений порою невероятная, всегда, в любую минуту и в миг любой, интересная, и не просто густо заполненная, но даже перенасыщенная на редкость разнообразными, увлекательными событиями, творческая, по природе своей, по сути своей очень самостоятельная, божественная, инопланетная, фантастическая, но реальная, временами фантазмагоричная, временами, что делать, скитальческая, в одиночестве частом певческая, в слишком бурном общении с кем-нибудь все равно отдельная, личная, с независимостью всегдашней от всего и от всех, особая, над землею меня поднимавшая, то и дело из бед восстававшая, но всегда драгоценная жизнь.

Москва для меня стала тогда сплошным стремлением: быть!

Но и в юности был я тем, кем пришел в этот мир, — поэтом.

Был самым собою. Всегда.

И все же, вот что занятно, вот что сейчас мне кажется загадкою, да и только, странностью, что ли, былой, или это вполне естественно для поэта, еще молодого, и понятно мне лишь теперь, когда сам я, увы, немолод, в юности, крайне редко, так редко, что случаи эти буквально наперечет, у меня иногда возникало наивное, это уж точно, теперь-то мне это ясно, и давно уже, а тогда искреннее, мальчишеское желание по-

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Гадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

знакомиться не со всеми, конечно, с некоторыми людьми, для меня интересными, со столичными знаменитостями.

И однажды я все же попробовал желание это, брезжущее в сознании, то исчезающее надолго, то возникающее сызнова, неожиданно, врасплох меня застающее, вроде бы и ненужное, ну подумаешь, обойдусь, а может быть, и полезное для меня, поди догадайся, кто его знает, каким оно оказаться может и что в нем для меня в грядущем таится, на практике осуществить.

Как-то, под настроение «с мелькнувшим: была не была!», как сказал однажды в своем старом стихотворении друг моей криворожской юности, поэт с непростой судьбой, бронзовилицый, кудрявый, коренастый Юра Каминский, в справочном (вроде домика пряничного, приятного или вроде добротной будки, что вернее, трудно сказать, да и надо ли говорить), нужного для человечества, жаждущего общения, ищущего друга друга по всему Союзу, бюро, одного из великого множества подобных ему, по столице разбросанных там и сям, а в моем, вспоминаю, случае, расположенного у выхода из метро, какого конкретно, совершенно сейчас не помню, да и надо ли вспоминать, если память моя хранит совсем другие подробности давно минувшего времени, штрихи его, гибкие линии, а то и скопления образов, узнал я домашний адрес поэта Евг. Евтушенко.

Симпатичная с виду тетенька жестом доброй сказочной феи протянула мне, улыбнувшись, похожую на квитанцию серенькую бумажку с этим заветным адресом.

И я без особых раздумий поехал прямо туда.

Знаменитый поэт, на звонок мой долгий, открыл мне дверь и встал столбом на пороге, явно не собираясь пускать меня, незнакомца молодого, в квартиру свою.

В ответ на мои слова о том, что я с Украины приехал в Москву, что давно уже мечтаю с ним познакомиться и очень хочу почитать ему стихи свои, Евтушенко, продолжая стоять в двери, вроде стражника, без алебарды, без пищаля, зато спортивного, так тогда показалось мне, худощавого и подтянутого, словно прямо сейчас он станет возле дома бегать трусцой, тряхнул своей полудетской, полувзрослой, срезанной наискось, гитлерюгендовской какой-то, приклатненной, дворовой челочкой, отрицательно помахал у порога длинной рукой и довольно категорично, хорошо поставленным голосом, с интонациями стальными в каждом слове отдельном, изрек:

— Нет! Собираюсь в дорогу. Уезжаю вскоре на север.

В прихожей возник человек необычный, крупный, плечистый, лысый, в больших очках, в ковбойке поношенной клетчатой, выглядевший, как в былинах, увальнем-великаном, в движениях всех медлительным, но с немалой силой в тяжелом теле, со странной взрывчатостью, спрятанной где-то внутри, вдруг сверкнувшей во взгляде его исподлобья, грузно шагнувший вперед, как шагают в походе, по тропе, с рюкзаком за плечами, упрямо, целенаправленно, в котором, по фотографиям, встречавшимся иногда в журналах, узнал я писателя Юрия Казакова.

Он взглянул на меня — и скрылся в глубине просторной квартиры.

Там, в квартире, за приоткрытой стражем-хозяином дверью, висели на стенах яркие, неизвестные мне картины.

Евтушенко снова тряхнул, отрицательно, для понятности, покачнувшейся наискось челочкой — и закрыл за собою дверь.

Пообщаться с ним — не удалось.

Тогда я узнал адрес и телефон Рождественского.

Действовал я на сей раз по-другому. Стратегию с тактикой несколько изменил.

Выпил немного, для храбрости.

Взял да и позвонил, напрямую, железному Роберту.

Трубку сняла какая-то приятная, судя по голосу и по тому, что за голосом невольно подразумевалось, воспитанная, московская, интеллигентная дама.

Я поздоровался с нею — и с ходу ей прочитал, не теряя времени, первое в голову мне пришедшее, из многих мною написанных, нигде никогда не изданных, лежащих бумажными грудями в папках стихотворение.

— А еще? — проявив интерес несомненный, спросила дама.

Я прочитал вслед за первым и второе стихотворение.

— А еще послушать мне можно? — с явной теплою ноткой в голосе низковатом спросила дама.

Я прочитал, волнуясь, и третье стихотворение.

— Хорошие это стихи, — сказала приветливо дама. — Кто вы такой? Назовитесь. Расскажите мне о себе.

Я назвался тогда — и вкратце, без подробностей всяких ненужных, толково и внятно, доходчиво, как сумел, рассказал о себе.

— Вы, наверно, и сами, Володя, догадались уже, что я, говорящая с вами сейчас и стихи ваши только что слушавшая, не случайная собеседница какая-то, лишь бы только поболтать нам о том, о сем, да стихи послушать, хорошие, что не так уж часто бывает, можете мне поверить, я знаю, что говорю и за свои слова отвечаю всегда, поскольку знаю цену словам, давно, хорошо, я супруга Роберта Ивановича, — сказала дама. И, после паузы: — Я понимаю, что вам хочется с ним увидеться. Человек он весьма занятой. Как быть? Придется подумать! — дама секунду помедлила и продолжила: — Знаете что? Сегодня я поговорю с мужем. А вы мне завтра, с утра, но не слишком рано, обязательно позвоните. И я сообщу вам, когда может произойти ваша встреча. Договорились? Ну, вот и чудесно. Звоните. А стихи ваши, честно скажу вам, Володя, мне очень понравились. Всего вам самого доброго.

Ну, как на юге сказали бы, это было уже кое-что.

Может, хоть одного, из трех столичных китов-шестидесятников, скоро своими глазами увижу?

Утром я позвонил.

Приветливая супруга поэта сказала мне, что встретиться с мужем ее могу я сегодня же днем, будет ждать он тогда-то и там-то.

И я приехал к Рождественскому.

Дверь открыл он мне самолично.

И в квартиру меня впустил.

Но, однако, не дальше прихожей.

На стене здесь висела картинка, чья-то графика, было похоже на художника Краусаускаса, чьи работы публиковались постоянно в журнале «Юность».

Стоял у стены в прихожей маленький круглый столик, возле него — два стула.

На одном из стульев сидел человек, похожий на жителя заграницы советской, Прибалтики.

Поздоровался он со мной с прибалтийским, само собой, литовским, похоже, акцентом.

Рождественский сел на второй, только что пустовавший, а теперь уже занятый стул — и, коротко мне махнув пухлой ручкой с толстыми пальцами, так же коротко бросил мне сквозь резиновые, надутые, толстоватые, сизые губы, заикаясь при этом:

— Ч-ч-читайте!

Сесть меня не пригласили, да и некуда, впрочем, было.

Посему я, стоя в плаще посередине прихожей, начал читать стихи.

Прочитал. Взглянул на Рождественского: какова же его реакция?

Рождественский губы резиновые раздул — и, вновь заикаясь, коротко бросил, голосом робота:

— М-мне н-не н-нравится!

— Ну почему же, Роберт? — сказал с прибалтийским акцентом сидевший за столиком круглым незнакомый мне человек. — Стихи, я считаю, хорошие. Мне интересно было услышать их. Современные. Очень оригинальные.

— Н-нет, м-мне н-не н-нравится! — лязгнул, а не сказал Рождественский.

Ну, на нет и суда нет.

А гордость — была у меня.

Поэтому взял я сумку свою — и направился к двери.

Попрощался спокойно, из вежливости.

Подождал, покуда железный Роберт, пыхтя и лязгая коленями и локтями, ключицами и суставами, несмазанными, наверное, открывал мне дверь. И ушел.

Дверь квартиры с раскатистым грохотом вмиг за мной захлопнулась. Эхо раздавалось в подъезде. Заглохло. Поднялась над лестницей пыль.

Затряслись, пошатнулись стены. Появилось подобье пены. Или — плазмы. Завыли сирены. Родилась не сказка, но быть.

Что-то в доме гудело. Ныло. Что-то падало, вроде мыла. Кто-то, чтоб ему пусто было, воспевал небось коммунизм.

Только щелкнуло что-то. Лязгнуло. Зашипело. Зарокотало. Забурлило. Железный Роберт, видно, смазывал свой механизм.

И решил я тогда позвонить киту столичному третьему, самому из троих талантливому, Вознесенскому.

Промелькнула, конечно, мысль: а вдруг попытка моя успехом не увенчается — и получится нечто подобное, все возможно ведь, первым двум?

Однако же, по чутью, по наитию, как обычно, да еще и, чего там скрывать, из упрямства, я позвонил.

Поэт оказался дома.

Я вежливо поздоровался, представился, объяснил, почему я хочу с ним увидеться.

И в ответ услышал нежданно:

— Хорошо. Приезжайте ко мне. Прямо сейчас. Мой адрес вы, полагаю, знаете?

Я пояснил поэту, что адрес узнал я в справочном бюро, незадолго до нынешнего звонка моего к нему, но не очень-то представляю, как мне туда добираться.

— Найти меня просто, — сказал Вознесенский. — Вы доезжайте на метро до станции «Бауманская». Там выход наверх один. Пройдете немного в сторону Елоховского собора. Мой дом — напротив него. Жду. Поскорей приезжайте.

Надо было ехать. Поэт в гости к себе меня ждет!

Была у меня тетрадь, в которую клеивал я газетные и журнальные вырезки со стихами, какие уж попадали в поле зрения, Вознесенского.

Книг его, нашумевших так сильно по всему Союзу и даже за границей, у нас в провинции днем с огнем было не достать. «Мозаику» и «Параболу» прочитал я недавно, в Москве, в Ленинской библиотеке, и там же, прямо на месте, не поленился, конечно, переписать в тетрадь свою эти яркие сборники.

В ту пору я очень многое, за неимением пишущей машинки своей, о которой оставалось только мечтать, просто-напросто переписывал, для себя, по привычке давнишней, по традиции, от руки.

Тетрадь эту, пусть и наивное, но стоящее внимания самиздатовское изделие, решил я, поколебавшись сперва, но потом решившись на этот жест, или шаг, или, может, поступок даже, все равно ведь, как их назвать, как точнее определить, если все это будет искренне, от души, показать поэту.

Жил я тогда все в той же (многократно воспетой мною в этой книге и прочих книгах из серии сочинений моих о былой эпохе и людях этой эпохи, которая называется «Отзывчивая среда») коммунальной, во всех отношениях приятной, удобной комнате на Автозаводской улице, предоставленной мне дружелюбно, с криворожских еще времен, настроенными Герасимовыми.

Довольно быстро собравшись, я отправился — дальше — в путь.

По дороге я вспоминал, как у нас в Кривом Роге, весной прошлого, шестьдесят второго, Тигриного года, купил я в газетном киоске номер очередной журнала толстого «Знамя», где напечатаны были, к великой радости всех тогдашних читателей, «Тридцать отступлений», еще и каких, новаторских, дерзких, звонких, полнокровных, исполненных силы богатырской, могло показаться многим людям в стране, из поэмы «Треугольная груша» — огромная публикация, целая книга, — и открыл журнал, и немедленно, увлеченно, начал читать, стоя под разгулявшимся вовсю весенним дождем, возле сквера, в котором шумел воробьиный громадный базар, совершенно не замечая ни дождя, идущего долго, ни воробьиного гвалта, в своем промокшем насквозь китайском светленьком плащике, покуда не прочитал все стихи, до последней строчки, и потом шел домой, на Гданцевку, под дождем, слегка ошарашенный всем, только что мною прочитанным, и думал, шестнадцатилетний, о том, как все это здорово, нет, прямо-таки замечательно, удивительно, превосходно, и нет всему этому равного, пока что, потом — посмотрим, потом еще поглядим, кто будет писать и получше, увидим все это, со временем, потом, другими глазами, как Пушкин сказал, духовными, и в этом-то путь, и смысл, и суть поэзии русской, — и прошло с тех пор время, недолгое, и кругозор мой расширился, но то впечатление, первое, так и осталось в памяти.

Дом номер сорок пять, возвышающийся на Нижней Красносельской улице, был действительно расположен в аккурат напротив Елоховского собора — и окнами всех своих этажей смотрел на высокие купола его, парящие в облаках, величественно плывущие в небесах столичных осенних, на просторный двор, отделенный от мирской суеты, от соблазнов суеты этой, столь нежелательной для парения духа, для тихих молений и песнопений, высокой, прочной оградой, за которой видны были низкие, густые постройки дворовые, трапезная, наверное, и что-то с виду хозяйственное, сараи, может быть, всякие, подсобные помещения различные, кладовые, и деревьев ряды, на которых верещали, чирикали птицы, над которыми вверх взмывали и сияли там, в эмпиреях, в горних далях, в глубинах синих, с ослепительным блеском, кресты, — а внизу между тем продолжалась абсолютно другая жизнь, с чередой забот повседневных, с магазинными очередями, с разговорами в них о ценах на продукты, с газетными стендами на замызганных тротуарах, с отдаленной угрозой атомной скоротечной войны, с размеренным настоящим и смутным будущим.

(Через пятнадцать лет буду я в этом соборе работать, не кем-нибудь там имеющим отношение к религии, к патриархату, нет, что вы, а просто дворником.

Буду ломом колоть лед и лопатой сгребать снег, всякий мусор сметать метлой и в совок собирать, а потом куда-то все это выбрасывать, и опять размахивать ломом, против которого нет, как любому известно, приема, и лопатой в снегу шуровать, и метлой всякий мусор сметать, и в совок его собирать, и куда-то все это выбрасывать, и опять

хвататься за лом, лопату, метлу и совок, под командой скверного старосты, мужичка, почти опереточного, с характером отвратительным, привередливого, занудного, работающая за гроши, хотя и с кормежкой в трапезной, вкалывая во дворе, просторном, хотя и с постройками различными, и на улице, иногда устало поглядывая на окна дома, в котором жил в начале шестидесятых знаменитый поэт Вознесенский.

В сторожке возле собора будет сидеть Кублановский, числившийся в сторожах, попивать чаек и вино, читать запрещенные книги и записывать между делом в тетрадку школьную тоненькую свои, о судьбе России, вполне вероятно, а может быть, о романах с прекрасными дамами, о поездках на юг и на север, обо все понемножку, стихи.

Сторож другой, философ Лева Пасеков, человек смуглый, с глазами горящими, с волосами до узких плеч, худющий до невозможности, скиталец, отшельник, аскет, обитать будет прямо в соборе, в огромнейшем теплом подвале, и я, изрядно измотанный бездомными своими, с позволения Лёвы, порою тоже стану там ночевать.

Скитаться по всей Москве, без постоянного крова, без приемлемой для властей, хоть какой-нибудь, но работы, будет уже опасно, и поэтому я, сознательно, чтобы хотя бы на время, ненадолго, пускай, но избавиться от повышенного внимания, ментовского, и другого, пострашнее намного, ко мне, подамся смиренно в работники лома, лопаты, метлы и совка, то есть попросту в дворники.

Но все это, как и прочее, не больно-то, согласитесь, веселое и распрекрасное, только будет еще, впереди.)

А пока что, в другое время, о котором сейчас говорю я, шла своим чередом столичная, с голубиными сизыми стаями на асфальте, с листвою желтою на ветвях деревьев, с троллейбусами, впрямь из песенки окуджавской, с холодком над Москвой-рекою, с ветерком крученым за Яузой, с небесами, то ясными, синими, то затянутыми пеленою смутноватой, к дождю, наверное, с прорывающимся неожиданно, сквозь любые преграды, солнышком, с перезвоном красных трамваев, с огоньками такси зелеными, с разговорами о театре «Современник» в метро и в автобусах, с холстами Сезанна в музее на Волхонке, с неистовым Врубелем в Третьяковке, с новыми встречами и стихами, славная осень, — и ехал я к Вознесенскому, и легко нашел нужный мне дом.

Вознесенский предстал предо мною в лучах мировой своей славы.

Моложавый, тридцатилетний, оживленный, весь на подъеме, на взлете, в рывке, вперед, и дальше, еще вперед, в движении, круговом, пружинистом, постоянном, привычном, вокруг оси невидимой, чтобы вырваться из круга, взлететь, воспарить над миром, и вновь приземлиться, и вновь устремиться ввысь, к вершинам новым, томящим возможностью покорения, признанием этой победы, пленительным торжеством над косностью быта, строя общественного, над всем ненужным, давно мешающим свободе слова, певучего, живого, полного сил, чистого, родникового, серебряного, звенящего соловьиным цоканьем, трелями, шелестящей летней листвою, снежком иногда охлаждающего, русского, настоящего, буйным жаром вдруг обдающего ради праздничного грядущего, моложавый, нет, молодой, под счастливой своей звездой, весь удача, восторг, прорыв сквозь гнетущую мглу, прилив крови к сердцу, вискам, глазам, отворивший шутя сезам, приоткрывший в пространство дверь преспокойно и без потерь, распознавший, как в сказке, путь самый верный, еще чуть-чуть — и настанет блаженный час, век беслечный, лесковский сказ, впрочем, вспомнится, хороша очарованная душа, только в чарах спасенья нет от невзгод, принимай, поэт, все, как есть, берегись химер, сладтолюбец, визионер, будь мудрее, ан нет, решит, обойдется, и жить спешит, моложавый, тридцатилетний, знать, не первый и не последний в череде чародеев, глух к назида-

Так что страдания вроде бы гонимого и затравленного властями, такими-сякими, нехорошими, право слово, популярнейшего поэта самым естественным образом переходили в его интересы, которые вскоре, в свою очередь, неизменно, как всегда, воплощались в дела.

Словом, «под распарившимся Парижем Ленин режется в городки», «а рядом лежит в облаках алебастровых планета — как Ленин, мудра и лобаста», «если спросят: „Какого стиля?“ — „Школы Ленина“, — говорим», «шарф мой, Париж мой», «пел Твардовский в ночной Флоренции», «я занят, я его прерву: в девять тридцать — интервью», «продай меня, Марше Опюс», «я в Шушенском. В лесу слоняюсь...»

И все было, в общем-то, в норме.

Или, как говорят, на мази.

Какие, право, счастливые люди — эти гонимые и неведомо кем затравленные, до мозга костей советские, несмотря на всю авангардность их, узаконенную властями, неизвестно зачем страдающие, не от сладкой ли жизни, поэты!

Чем круче гонимость, тем больше изданий. Сплошные удачи! Везуха, и только. Фарт.

Нет, возможный читатель мой, не напрасно кое-кому говаривал со значением прошедший такую школу гонимости («школу Ленина», вероятно, по Вознесенскому!), что и врагу заядлому такого не пожелаешь, Толя Зверев, художник: «Старик, тебя никогда не били!»

Но как пел по гитаре свою тихострунную Окуджава: «Ах, это, братцы, о другом!»)

Вознесенский меня расспросил, кто я, откуда приехал.

Очень коротко я тогда рассказал ему о себе.

— Есть у вас однофамилец, — сказал Вознесенский, щурясь на свет из окна. — Николай Олейников. Замечательный поэт. Вы такого знаете?

Я сказал:

— Нет, еще не знаю. Но в ближайшее самое время постараюсь его узнать.

Основания так говорить у меня, разумеется, были.

Я как раз собирался приехать, созвонившись с ним, к Диме Борисову, чтобы там, у него в квартире, где хранились целые горы самиздатовских перепечаток, прочитать повнимательней всех обэриутов, оптом.

Хармса я уже знал.

Заболоцкого тоже знал, причем хорошо, выделяя его из всех остальных, потому что был он не просто обэриут, литератор авангардный и эпатажный, но великий русский поэт.

Оставались как раз Олейников и Введенский, отдельные строчки сочинений которого я помнил уже наизусть.

А уже прочитанных мною не мешало бы вновь почитать.

Я сказал:

— Николай Олейников пишется с буквы «О».

— А вы? — спросил Вознесенский.

Я ответил:

— А я — с буквы «А».

— Почитайте стихи! — сказал, посмотрев на каляку-маляку, а потом на меня, Вознесенский.

Он зачем-то прилег на тахту.

Приготовился слушать в лежачем положении. Прихоть артиста, не иначе! Капризы звезды.

Модные брючки его слегка задрались. Наружу выглянули шикарные носки заграничные, пестренькие, длинные, будто гольфы, почти до колен, на резиночке.

И устроившись поудобнее на тахте, Вознесенский снова, дружелюбно вполне, сказал:

— Почитайте стихи, Володя!

Я прочитал ему несколько тогдашних стихотворений.

— Хорошо! — сказал мне поэт. — Интересно. Вот только вы рифмуете «девочки — деревце». Это уже не модно.

Я из вежливости промолчал.

— Да, — сказал Вознесенский, отщипывая виноградины и отправляя их, одну за другою, в рот, а потом их жуя и глотая с удовольствием, — самое главное в искусстве — это всегда быть, Володя, самим собой. Вот, например, как Асеев. «Тулумбасы, бей, бей! Запороги, гей, гей!» И сразу видно, что это именно он написал. Или как Николай Олейников, ваш, Володя, еще не прочитанный вами, однофамилец. «Маленькая рыбка, жареный карась, где ж твоя улыбка, что была вчерась?» Или как Заболоцкий. Помните? «Прямые лысые мужья сидят, как выстрел из ружья». Или это его, из «Столбцов». Наверное, тоже помните? «Сидит извозчик, как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит, монетами звеня. А бедный конь руками машет, то вытанется, как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе». Я дружил с Пастернаком, со школьных лет своих. Часто бывал у него. После школы учился в институте Архитектурном. Пошел туда специально, чтобы моя профессия будущая не имела отношения к литературе. И вот однажды принес я Пастернаку стихи свои новые. Он прочитал их внимательно и сказал мне, что рад бы и сам написать такие стихи, что мог бы включить их в свой сборник. Знаете, есть у него, в поздних его стихах: как из картины в картину, вхожу, или перехожу, как на выставке, помните сами эту вещь, наверно, картин... И у меня было что-то в этом роде. И понял я, что так мне писать нельзя. На время бросил поэзию. Занимался немного живописью. Занимался архитектурой. Позже пошли стихи, я понял, уже мои. Принес их тогда Пастернаку. Борис Леонидович был так рад, что я состоялся. Радовался, когда я стал наконец печататься. Поздравлял меня, от души. Да, важно, чтобы в стихах все было свое, всегда. Мои друзья, Евтушенко, Рождественский, Окуджава, — поэты давно состоявшиеся и все со своим лицом. Лучший поэт, конечно, из нынешних — Ахмадулина.

— Я принес с собой самодельную книгу ваших стихов, которую составляю уже давно, и хочу вам ее показать, — сказал я после недолгого размышления Вознесенскому.

Поэт сказал:

— Интересно! Покажите. Хочу посмотреть.

Достал я из сумки тетрадь с наклеенными на каждой странице, довольно густо, вырезками из журналов и газет, в изрядном количестве, а также и с переписанными от руки отдельными текстами и даже целыми сборниками, протянул ее Вознесенскому.

Он полистал тетрадь.

Видно было, что он польщен.

Похоже, даже растрогался.

— А что же, на Украине нельзя достать мои книги? — спросил он меня с любопытством. — «Треугольную грушу» мою разве нельзя купить?

Я ответил ему:

— Невозможно!

Так оно ведь и было на деле.

Ну хоть расшибись, эту книгу невозможно было достать.

— Я вам сейчас подарю! — сказал Вознесенский, встав с тахты и шагнув куда-то к журнальным и книжным грудам.

В этих грудях он отыскал продолговатую книжечку с выразительной, очень бро-ской, бело-красно-черной, отчасти под Малевича, авангардной, супрематистской обложкой.

Взял со стола заграничную, не перьевую, а шариковую ручку. Непринужденно повертел ее в гибких пальцах.

Раскрыл уверенным жестом свою «Треугольную грушу».

И на титульном белом листе размашисто написал:

«Володе Олейникову с сердечными пожеланиями стать Олейниковым. Андрей Вознесенский. Москва, XX век».

Надпись эту вначале я толком не разглядел.

Поблагодарил его — и положил подаренную книгу в свою сумку.

А когда, уже позже, увидел, что написать умудрился Вознесенский в моей фамилии вместо «А» досадное «О», то вскипел и мгновенно подумал: ну уж нет! Никаким Олейниковым стать я не собираюсь.

Я — Алейников. Ясно? Запомните это твердо. Я сам по себе. Алейниковым я был, есть и всегда останусь.

Но это было уже на обратной дороге, когда возвращался я на Автозаводскую.

А пока что поэт знаменитый Вознесенский меня, человека молодого совсем, хоть и пишущего давно и всерьез, приветивший и книгой своей одаривший, то расспрашивал, с интересом, не наигранным вовсе, о чем-нибудь, и я ему что-то рассказывал, а он виноград отщипывал от грозди, пожевывал ягоды, закуривал изредка «Мальборо», сквозь дымок ароматный шурился, улыбался, как сфинкс, и слушал, то сам что-нибудь из своей биографии снова рассказывал — и я внимательно слушал.

Зазвонил, соловьем заливаясь механическим, телефон. Вознесенский привычным движением человека двадцатого века, имеющего дело с техникой современной давно и всюду, где бы ни был он, поднял трубку:

— Да, да! Хорошо. Скоро буду.

Весь в моцартианстве этаком, в порыве, почти в полете, он положил небрежно телефонную трубку, так, словно волшебную флейту в сторону отложил, только что с удовольствием что-то сыграв на ней новое, самое свежее, и обернулся ко мне.

— Сякин звонил! — сказал он мне так, будто я хорошо себе представлял, кто такой этот Сякин.

(Позже я понял, что это редактор, весьма известный, передовой, издательства «Молодая гвардия», где готовилась новая книга Вознесенского. А в период моей работы редактором в издательстве «Современник», о чем до сих пор вспоминаю с ужасом и содроганием, я с ним и познакомился. Он приходил туда. Вроде бы там подрабатывал. Очень гордился тем, что это именно он издал в свое время книгу прозябавшего в нищете глухой Леонида Мартынова, чем спас его от забвения и вызвал к его стихам интерес, вначале читательский, а вслед за ним и издательский, остальное же всем известно. И конечно же, тем, что он, после хрущевской ругани, вопреки всем проишкам ярых и матерых гонителей нового в нашей литературе, издал еще и Вознесенского.)

— Надо ехать! — сказал Вознесенский. — Подвезти вас куда-нибудь? Хотите? Я — на такси.

Мы вышли с поэтом из дому на осеннюю шумную улицу.

Напротив собора Елоховского, на фоне всех куполов его, и крестов, и ограды высокой, и двора просторного, с разными хозяйственными постройками и деревьями, по ветру плещущими золотящейся легкой листвой, Вознесенский, взмахнув рукой, словно решив почитать всей округе, всему вообще миру стихи свои новые, быстро поймал такси.

Забрались в машину, поехали.

— Вам куда? — спросил Вознесенский.

Я ответил:

— Я выйду в центре.

Вознесенский сказал:

— Пожалуйста!

И тут я, не удержавшись, достал из сумки своей и показал поэту напечатанные в Кривом Роге, в пятидесяти экземплярах, на ротاپринте, пародии приятеля моего Славы Уриха, человека из нашей компании тамошней, на «Треугольную грушу».

Вознесенский без энтузиазма, как-то вскользь, полистал страницы.

Ничего не сказал. Кривовато улыбнулся. Вернул мне пародии.

Подъезжали мы к центру столицы.

Вознесенский взглянул на меня.

Подобрел. Расплылся в улыбке.

— Звоните мне. Приезжайте, — сказал он. — Пишите стихи. Мне интересно то, что вы делаете в поэзии.

— Буду писать стихи, — сказал я. — А если снова окажусь в Москве и застану вас дома, то, может быть, еще и приеду к вам.

— Вот и чудесно, Володя! Буду ждать! — сказал Вознесенский.

В центре я попрощался с ним и выбрался из такси на усыпанный желтыми листьями, темнеющий влажным асфальтом, выщербленный тротуар.

А знаменитый поэт, глядя на мир сквозь тусклое боковое стекло машины и улыбаясь осени, дальше поехал. К Сякину.

Ничего, ничего, думал я про себя, широко вышагивая по Тверскому, очень московскому и с традициями, бульвару.

Я еще напишу, вот увидите.

Скоро я напишу такое, что все, как у нас говорят на юге, еще почешутся.

Я свои силы знаю.

И это, ребятки, будет.

Неприменно. И очень скоро.

И я написал свое новое. Настоящее. В октябре.

(Тут придется сказать, что, привыкнув еще с юности мыслить книгами, в сентябре я пошел на какой-то ненужный мне эксперимент и попробовал, мол, чего там, вдруг получится интересно, из отдельных стихотворений, связанных меж собою лишь временем написания, сложить, составить, смонтировать некую, любопытную все же, так я считаю, несмотря ни на что, поэму, которую, с должным вызовом и с разумным пафосом, назвал я «Который час?»).

Вещь получилась громоздкая, здоровенная, строк восемьсот, не меньше, если не больше.

Когда, завершив труды свои по выстраиванию поэмы, показал я ее однажды человеку весьма разумному, поэту, прозаику, другу моему Володе Брагинскому, он, внешне очень похожий на апостола Павла или же на Петра, не помню точнее, так Дима Борисов считал, посмотрел на меня задумчиво и сказал, что стихи, если взять по отдельности каждую вещь и осмыслить ее, хорошие, и они ему искренне нравятся, но вряд ли это поэма, скорее просто удачный, небольшой, для него интересный, достаточно выразительный сборник стихотворений.

По причине упрямства всегдашнего своего, с детских лет, фамильного, но с довеском немалым личного, я, пока что, во всяком случае, считал мое сочинение свежескроенное — поэмой.

Мне предложили знакомые почитать ее без промедления в каком-то литобъединении, кажется, при издательстве «Московский рабочий», всех этих сборищ никак не упомнишь.

Почитать, да не просто так, прочитал, мол, и будьте здоровы, я свое уже отработал, как хотите, так и считайте, принимайте, не принимайте, это ваше, ребята, дело, вот и все, я пошел домой, но, как водится, — с обсуждением.

Часть этой странной поэмы, с мой на больших листах переписанной тщательно рукописи, даже перепечатали издательские машинистки.

Поскольку до дня, на который назначено было чтение, времени для работы было у них в обрез, перепечатать весь текст, многострочный, многостраничный, сложный, они не успели.

И настал этот, слишком уж памятный, день моего чтения.

Читал я тогда по-своему, выразительно, увлеченно.

Публика, вот что вскоре заметил я, реагировала на отдельные лишь куски поэмы, именно так, как и следует воспринимать отдельные, обособленные, интересные стихотворения.

Целого же — моей смонтированной поэмы — совершенно не воспринимала.

Я был в ярости. Не на публику, разумеется. На себя.

Это был хороший урок.

Вот тогда и задумался я, впервые, всерьез, как мне быть, как мне писать свои книги. И понял: книги мои — пишут себя сами.)

Новая вещь моя называлась коротко — «Врубель».

Считалась она — поэмой.

Но конечно, была это — книга.

Вначале я прочитал ее моим первейшим, в ту пору, друзьям, образованным, умным, талантливым, — Диме Борисову и Володе Брагинскому. Их мнением, их отношением к моим тогдашним стихам я особенно дорожил.

Они сказали мне: да, это именно то. Твое. Новое.

И я, окрыленный их пониманием и поддержкой, стал читать свою новую вещь и другим, в тех местах, где хотели услышать ее поскорее, а хотели ее услышать поскорее, в любое время, должен прямо сказать, везде.

Молва о ней разнеслась по всей столице мгновенно.

Все пишущие знакомые из круга университетского радовались за меня.

Строгая, как учительница, и требовательная к текстам тогдашних своих друзей и приятелей, Зина Новлянская, русалка с медными, длинными, ниже плеч, волной, волосами и колдовскими, зелеными, с чернотой зрачков таинственной, с характерным разрезом, двумя полумесяцами, глазами, поэтесса, звезда филфака МГУ, написавшая чудную, знаменитую в давнее время, кажется, так и не изданную до сих пор, небольшую поэму «Листопад», говорила мне добрые слова о моей победе и, отчасти ревниво, все-таки выражала свою приязнь.

Аркаша Пахомов был попросту ошарашен.

Коля Мишин меня цитировал на каждом столичном углу.

А Саша Морозов, поэт филфаковский, выпускавший огромную стенгазету, со стихами и даже с поэмами, сочиненными вдохновенными, что вполне понятно, студентами, комсомольский восторженный деятель, после чтения моего в «Бригантине» уни-

верситетской, филфаковском литературном популярном объединении, встал и при всех заявил, что он, Морозов, отныне прекращает писать стихи, поскольку Владимир Алейников и так все в грядущем напишет.

Он оказался прав.

Словом, как говорят, наверное, литературоведы, семи пядей во лбу, премудрые граждане, палец им в рот не клади, откусят не глядя, разжуют и мгновенно выплюнут, и ходи потом изувеченным, им-то что, ведь и в ус не дуют, и глазом хоть раз не моргнут, ученые люди, серьезные, особая, видимо, каста, вполне вероятно, избранные, отмеченные заранее, уж не свыше ли, кто его знает, кто его разберет, не известно никому, началась моя новая творческая пора.

Писал я, помимо «Врубеля», и другие стихи, необычные по пластике и по ритмике, по той моей полифонии, которая непрерывно улучшалась и разрасталась.

Работал я очень много. Постоянно. С полнейшей отдачей.

Ни единой строчки из этих многочисленных сочинений доселе никто не издал.

Если собрать сейчас уцелевшие чудом тексты или по памяти мною восстановленные позднее — из всей этой массы писаний, терявшихся, уничтожавшихся, расхищавшихся, пропадавших в годы моих бездомия, находящихся вдруг, частями, в непредвиденных самых местах, в которой, помимо поэзии, было немало и прозы, — то, думаю, это займет не менее трех томов.

Я вернулся к себе на родину — и там, в ноябре, в декабре, писал свои новые вещи.

Из них сложилась одна книга, другая книга, третья книга, четвертая книга... Все — в единственном экземпляре. Только изредка — в двух или в трех.

Рукописи мои. Работа моя сокровенная. Работа самоотверженная. Где эти книги, где?

Стихи мои. Проза моя. Времена мои незабвенные. Одиночество. Творчество. Жречество. Речь моя. При свече и звезде.

В январе шестьдесят четвертого вновь я приехал в Москву.

Будто на волю вырвался.

Мечтал друзей повидать.

Побродить хотел по столице.

Показать кое-что из написанного.

Кому? Ну конечно, друзьям.

Жил какое-то время, недолго совсем, у Димы Борисова, потом оказался, неожиданно, так вышло, на Автозаводской.

Съездил, как и наметил себе, во Владимир, в Суздаль.

Побывал на Нерли, у храма Покрова. Шел к нему сквозь снег.

Купленную во владимирском Успенском соборе икону Владимирской Божьей Матери с тех пор всегда, где бы ни был я, вожу неизменно с собой.

Вот и сейчас она — рядом.

О зимних своих тогдашних путешествиях я, возможно, еще расскажу, потом, когда-нибудь, в книгах моих.

Расскажу о январской Москве шестьдесят четвертого года.

О небесном — и о земном.

Новую книгу стихов своих, переписанную от руки, поскольку машинки не было у меня, я отвез Вознесенскому.

Позвонил ему с Автозаводской:

— Прочитали книгу мою?

— Дима, все в порядке. Договорились. Вознесенский оставит нам пропуск на концерт у администратора, пропуск на два лица.

Борисов слегка оживился:

— Вот видишь, как все удачно складывается. Давай сходим туда. Вечерок на людях скоротаем. И Вознесенского, — тут Димины губы скривились иронично, — хоть я его и не жалею, все же послушаем.

До вечера ждать оставалось недолго. И он пришел, со всеми своими огнями. И мы собрались и отправились вдвоем на грядущий концерт.

Приехали мы с Борисовым в нужный дворец культуры. Получили у администратора, солидной накрашенной дамы с высокой, как башня, прической, пропуск на два лица, причем она, выдавая нам пропуск, весьма уважительно, со значением, из-под ресниц блеснув глазами, сказала:

— Андрей Андреевич лично просил меня, чтобы все без осложнений было, чтобы вы, товарищ Алейников, — вы поэт, да? — ой как я люблю поэтов, у нас они часто и охотно всегда выступают! — на вечере поприступствовали обязательно. Милости просим!

Я сказал ей:

— Спасибо вам! Я вниманием вашим тронут.

— Мерси, мадам! — поддержал меня, учтиво, слегка наигранно, галантно и непри-
нужденно, смешав это все воедино и сдобрив еще и особенным, характерным борисов-
ским юмором, для которого иногда не нужны были вовсе слова, но достаточно было
взгляда на кого-то, из-под очков, или жеста, или поджатых и уже готовых к улыбке
пухлых, четко очерченных губ с темноватым пушком над ними, чтобы юмор этот по-
чувствовать моментально, Дима Борисов.

— А друг ваш тоже поэт? — спросила меня накрашенная, солидная администратор-
ша, поправляя свою прическу.

Я ответил как можно солиднее:

— Историк литературы!

— Ой как интересно! — воскликнула солидная администраторша. — Ну, прошу вас,
прошу, товарищи, проходите же, проходите.

Сняв свои пальто в раздевалке, мы прошли в переполненный зал.

Шел сборный концерт. Сборный.

По чьей-то задумке вздорной.

Не то, чтоб хреновый. Спорный.

Обычный. И непритворный.

Всякой твари здесь было по паре.

Все — как будто в каком-то угаре.

Или, может, виденья в кошмаре?

Каждый был как довесок — при даре.

Театральные и цирковые артисты. Одни — с монологами и со сценами из спектак-
лей. Другие — с кульбитами, сальто и прочими номерами.

Актеры кино. Узнаваемые. Ба, знакомые лица! С экрана — прямо на сцену. Со сце-
ны — вновь на экран.

Иллюзионист. Весьма таинственный. Как? Откуда? Зал — в ожиданье чуда. Ведь на
дворе — зима.

Журналисты. Со свежими самыми новостями — со всей планеты. Некоторые, шу-
стрые, — на часок, из другой галактики.

Один профессор. В очках. С бородкой. С большим портфелем. Из института. Или — из «Карнавальной ночи».

Танцевальный, бурно топочущий, разноритменный коллектив.

Детский хор. Пионерские галстуки. Взгляды в зал. Приоткрытые рты.

Нарядный ансамбль народной, задушевно звучащей музыки.

Эстрадный ансамбль. С барабанами, трубами, саксофоном.

Трио лихих, в лаптях, в поддевочках, балалаечников.

Гитарист. Семиструнной подруги энтузиаст, со стажем.

Гармонист-виртуоз. Всерьез наяривал. Инструмент свой рвал, как душу. Бывали моменты — заводил, доводил до слез.

Художественная, вполне в духе былой эпохи, самодеятельность дворца всеобщей советской культуры.

Многие выступали в тот вечер на этой сцене.

Отработав свой номер веселый, эпизод из фильма, народом любимого, «Друг мой, Колька», бегал по коридору с удочками и пустым гремящим ведерком в руках, корча всем без разбору, подряд уморительнейшие рожи, прирожденный комик, актер популярный Савелий Крамаров.

Наконец часа через два, объявили и Вознесенского.

Всемирно известный поэт вышел на сцену стремительно.

Подбоченился. Голову с ходу из плеч своих выставил, целясь вперед и наискось, в зал.

Она, голова его, выдвинулась, как перископ на подводной, всплывать собравшейся лодке.

Крепко, по-молодецки, для надежности, упираясь в поверхность дощатую сцены сразу двумя широко расставленными ногами, стоя у всех на виду, в своем заграничном, свободном, клетчатом пиджаке, в пестром, фигой завязанном шарфике, из-под ворота полураспахнутого рубашки светлой, на шее, поэт призывно взмахнул правой рукой и начал читать свои знаменитые, сросшиеся с успехом неизменным «Сибирские бани»:

— Бани! Бани! Двери — хл-л-лоп! Ба-а-бы пр-рыгают в сугроб! Прямо с пылу, прямо с жару! Н-ну и ну! Слабовато Ренуару до таких сибирских ню!..

Ну и аплодисменты же он в тот вечер сорвал!

Народ был — очень доволен.

Бабы! Пахло клубничкой.

Наши бабы. Ядреные Крепкие.

Сибирские. Кровь с молоком.

Не то что какая-то хлипкая ренуарья порода бабская! Нашенское, отечественное — самое лучшее, факт.

Наша баба — лучшая баба.

Советские бабы — самые лучшие в мире бабы.

Советское — значит отличное.

Бабы — во! Бабы — ну и ну!

— Ну и ну! — говорили в зале. — Здорово! Браво! Бабы!

Актер, популярный в народе, комик Савелий Крамаров, стоя на заднем плане, за кулисами, но с расчетом, несомненным, лукавым, так, что его прекраснейшим образом, отовсюду, видели зрители, без усталости, как заведенный, строил смешные рожи, пустым ведерком помахивал и салютовал Вознесенскому своими длинными удочками.

Довольный поэт откланялся и степенно покинул сцену.

Дима Борисов был очень доволен. Всякого здесь он, бывавший редко на подобных мероприятиях, а может, что вероятно, сроду на них не бывавший ранее, насмотрелся.

Весело, с пользой, с толком (ежели помнить о юморе, красной нитью прошедшем сквозь весь абсурдный отчасти, отчасти же стандартный, времен хрущевских, и покоренья космоса, и ожиданья светлого будущего, для всех, через двадцать каких-то лет, рядовой советский концерт, плановый, наверняка для москвичей и гостей, вроде меня, столицы, для галочки в чьем-то отчете, для подъема духа сограждан, в январе, морозном и снежном, для того, чтобы людям поднять настроение, без алкоголя, чтоб отвлечь их от быта, что ли, чтобы праздником зимним повеяло во дворце культуры и даже там, за дверью дубовой, на улице, где хрустел снежок под ногами, завихрялся у фонарей, уносился к высоким звездам и куда-то еще, подальше, до весны), провел вечерок.

И потом, через годы, ставшие непростыми для нас обоих, иногда он, под настроение, вспоминал, бывало, и Крамарова, с его ведерком и удочками, и огромный успех имевшего у публики Вознесенского, с его сибирскими бабами.

Вскоре я вновь уехал на родину, в Кривой Рог.

А возвратился в Москву — через полгода, летом, поступать в университет.

Коля Мишин, герой натуральный уникального нашего времени, развеселый, сметливый парень, будущий храбрый смогист и человек-театр, лично знакомый с Феллини, прислал мне весьма таинственную, озадачившую начальство отделения местного связи, милицию криворожскую, чиновников из горкома, а также райкома партии, передовых оглоедов из горкома, а также райкома комсомола, и, в завершение эпопеи почтовой, смущенную, растерянную почтальоншу, фантастическую, не иначе, из Лема или из Свифта вряд ли, но очень мишинскую, без аналогов, телеграмму: «Приземляюсь куполами соборов ленинские горы», вслед за которой пришло выдержанное отчасти в таком же духе, но более внятное и обстоятельное письмо, в котором Лукьяныч, он же Коля Мишин, поэт, на заре своей бурной жизни, излагал мне свою идею реального поступления в МГУ, на искусствоведческое отделение исторического факультета, по той причине, что там иностранный язык на вступительных, всех страшших экзаменах не сдают, и предлагал мне всерьез вместе с ним поступать туда, поскольку все остальные экзамены, сколько бы их ни было, мы с ним, без всякого сомнения, одолеем.

И внял я его призывам, и приехал в Москву, поступать на заманчивое отделение, и, сдав на ура, на отлично все экзамены, был зачислен, принят в университет, становился уже студентом столичным, почти москвичом, и лето, с пылом и с жаром своим, к завершению шло, и впереди у меня была моя новая осень.

Но до осени в жарком, с нервами напряженными, с треволнениями неминуемыми, да и с прочим, длинным перечнем не желающих оставаться надолго в памяти, многозначном столичном августе, когда я сдавал экзамены в самый лучший университет, как считал я, и все вокруг так считали, и это правда, потому что все так и было, надо было еще дожить.

И тут опять в моей жизни появился поэт Вознесенский, но только не сам он, лично, весь, как есть, а его книга.

Обувь моя изнасилась. По этой причине мне надо было купить себе туфли. Для этого мама заранее выдала мне деньги — впереди ведь была осень!

Встретился я Колей Мишиным в центре. Намеревался вместе с ним зайти в магазин и выбрать, если удастся найти что-нибудь подходящее, ежели мне повезет, простую, недорогую, удобную, прочную обувь.

Коля, думал я, человек сноровистый и практичный, в отличие от меня, и в такой непростой ситуации, как покупка надежной обуви, тем более выбор ее заведомо невелик, несмотря на избыток всяческих, огромных, просто больших и совсем незаметных, крохотных, скромных, простых магазинов, но таких, что стоят всех, оптом, остальных магазинов столичных, может быть очень полезен.

Однако туфли тогда так я и не купил.

Практичный, полный решимости помочь мне в походе за обувью и выборе таковой, если найдем, конечно, где-нибудь ее, Коля Мишин вдруг замедлил свой быстрый шаг возле книжного магазина, как говорили обычно москвичи меж собою, сотого, большого, на улице Горького.

В двери этого магазина с улицы устремлялась непрерывная череда взбудораженных чем-то граждан, а обратно из двери на улицу с довольным видом просачивалась другая совсем череда, причем, что бросалось в глаза, в руке буквально у каждого из вырвавшихся на волю из толкотни людской, распаренных, но довольных победой одержанной, граждан, приводящих себя в порядок и вдыхающих с удовольствием относительно свежий воздух на столичных стогнах, была новехонькая, как игрушечка, в упаковке занятой, то есть в броской суперобложке, даже на расстоянии пахнущая типографскими неповторимыми запахами, не толстенная и не маленькая, а такая, как надо, компактная, удобная, плотная книга.

Мишин сделал боксерскую стойку и сказал:

— Это антимирь!

— Какие еще антимирь? — удивился я. — Где? Откуда?

— Новая книга! Новая! Вознесенского! Новая книга! Понимаешь? — воскликнул Мишин. — Видишь, она уже вышла. Покупают ее сейчас. Называется — «Антимирь».

Я спросил его:

— Ну и что?

— Как это — что? — возмутился, всю заводясь, Мишин. — Я знаю: это судьба!

— Странно ты, Коля, ведешь себя! — сказал я ему озадаченно.

— Ничего тут странного нет, Володя! — воскликнул Мишин. — Наоборот. Все нормально. Все идет сегодня, как надо. Все так и должно было быть.

Пришлось развести руками:

— Ничего я не понимаю!

— Скоро поймешь, — сказал Мишин. — «Антимирь»!

Пришлось потребовать мне:

— Выражайся яснее, Коля!

— Выражаюсь. Куда уж яснее! — сказал поспокойнее Мишин. — Слушай меня. У тебя сейчас деньги на туфли есть? Есть. Давай их сюда.

Я спросил резонно:

— Зачем?

— Скоро узнаешь сам. Не волнуйся, все будут целы. Еще и прибыль для нас обязательно образуется! Давай поскорее деньги!

Я достал из кармана отложенные на туфли тридцать рублей. Отдал их Коле Мишину.

— А теперь пойдем-ка со мной! — сказал повелительно Мишин.

Бок о бок с ним, превратившимся в настоящий таран, я втиснулся в едва различимый просвет меж чередой выходящих на улицу из магазина и чередой входящих с улицы в магазин возбужденных, взъерошенных граждан.

В магазине Мишин спокойно, как ни в чем не бывало, плавно, высоко приподнявшись в воздух и сжимая крепко при этом в кулаке мои тридцать рублей, описал в тес-

новатом пространстве, в положении вертикальном, а никак не горизонтальном, эффектной дугу — и оказался уже не там, где только что был, но почему-то вдали, впереди, самым первым у кассы, в которую все платили деньги, взамен получая узкие серые чеки для получения книг желанных в одном из отделов, и куда терпеливо стоял длиннющий, петлистый хвост граждан, жаждущих страстно книгу приобрести.

Приземлившись у кассы, Мишин отодвинул небрежно локтем толпящихся рядом граждан, почему-то, вот уж загадка, и не думавших возмущаться и безропотно, даже охотно, позволивших человеку, прилетевшему сверху откуда-то, возможно, из антимиров, а может, из облаков или по спецзаданию какому-то, кто его знает, кто его там разберет, если сверху — так значит сверху, и никак не снизу, как прочие, значит, можно, разрешено, есть приказ и печать, одобрено, все в порядке, зеленая улица, постовые под козырек, часовые в ружье, командирам честь отдать, прилетел человек, свой, советский, чай не с луны он свалился, ведь сам приземлился, прибыл, слава героям, ура, молодым — им везде дорога, и тем более здесь, в магазине, — встать впереди всех.

— Девушка, — обратился Мишин к усталой кассирше. — Сколько стоят «Антимиры»?

Та ответила:

— Сорок копеек.

— На все! — протянул ей Мишин мои, для покупки обуви осенней, тридцать рублей.

— Зачем так много? — услышав такое от человека, прилетевшего к магазинной кассе, возможно, с небес, а может быть, и со звезд, без всякого звездолета, без всякого самолета, да еще и без парашюта, как говорится, своим ходом, или полетом, не знаешь ведь, как и сказать, что вообще говорить, увидев такое чудо, как летающий Коля Мишин, в столице, средь бела дня, напротив себя, да вот он, потрогать можно, живой, настоящий, вовсе не сон, не бред совсем и не призрак никакой, удивилась кассирша.

— Полярники заказали! — веско, твердо, с достоинством, солидно, как подобает необычному человеку, гражданину подлунного мира, а не только советской страны, гражданину целой вселенной, коль не то уж пошло, пояснил, в роль войдя окончательно, Мишин. — Дрейфуют они во льдах. Скучно там до невозможности. Все книги в библиотеке давно уже перечитали. С Большой землей постоянную связь далеко не всегда, только изредка, по расписанию, по часам, поддерживать можно. Голод у наших людей, книжный. Новинки требуют. А я вот как раз в Москве, ненадолго, в командировке. Прямо с Новой Земли, представляете, с холодного, снежного острова. Вначале пешком, потом на собаках, потом на оленях, а потом тремя самолетами к вам сюда добирался. Смотрю — а у вас, пожалуйста, вот они, «Антимиры». Ну, думаю, надо порадовать верных своих товарищей на севере, грустно им там, пусть почитают свежатинку, душой отойдут в снегах, сердца согреют замерзшие новым русским печатным словом. Вот и беру. На все!

— Понятно! — сказала кассирша. — Привет советским полярникам! — и выбила нужный чек.

Мишин, взяв чек, опять плавно взлетел на воздух, спланировал у прилавка и там, не взглянув и вполглаза на очередь, получил на руки невероятное, можно сказать, несметное количество экземпляров свежих «Антимиров».

— Как мы тащить их будем? — озадаченно, толком еще ничегошеньки не понимая, спросил я лучшего друга, Николая Лукьяныча Мишина. — И зачем же нам столько этого, как сказать бы помягче, добра?

— Дотащим, — сказал мне Мишин. — А добро это скоро нам, ты увидишь сам, пригодится.

Он, как фокусник, помахал, влево, вправо, рукой — и вытащил, даже не нагибаясь, откуда-то из-под прилавка широкий моток бечевки, не просто быстро, но как-то,

сказал бы я, молниеносно, проявив при этом умение вовсе не дилетантское, умение удивительное, профессиональное, высшего класса, или разряда, или ранга, поди догадайся, где учился он, обмотал этой бечевкой книги, разделив их на несколько стопок.

Загрузил меня этими стопками.

А потом и сам загрузился.

Со своей тяжелою ношей мы выбрались из магазина на шумную улицу Горького.

— Идем! — сказал Коля Мишин. — За мной, Володя! Вперед!

— Куда? — спросил я, выглядывая из-за стопок новеньких книг, которые надо мне было умудриться каким-то образом, ни одной из них не роняя по пути, на весу удерживать.

— Скоро узнаешь! — сказал мне, кивнув дружелюбно, Мишин.

И он, человек летающий, но иногда и шагающий по родимой земле советской, лихо помаршировал напрямик вверх по улице Горького, и я вслед за ним зашагал, держа на весу здоровенную, с головой меня чуть ли не скрывшую, отдавившую плечи гору закупленных Мишиным книг.

Остановился Мишин возле кафе «Молодежное».

И сказал мне кратко:

— Заходим!

Я сказал:

— Ведь у нас нет денег!

Мишин сказал, как отрезал:

— Ничего. Все сейчас образуется.

Мы зашли с ним вдвоем в кафе.

Поскольку был день, а не вечер, то посетителей там оказалось ничтожно мало.

Мишин сразу же занял столик у большого окна, выходящего прямо на улицу Горького.

— Девушка, — обратился он к подошедшей официантке, — нам два пунша и два кофе.

Сухопарая официантка, покосившись на книги, которые притащили сюда мы с собою, принесла нам Колин заказ.

Мы с Мишиным стали потягивать пунш через соломинки.

Стопки «Антимиров», закупленных оптом, лежали на полу, рядом с нашим столиком, внушительной, пахнущей острой, спиртовой типографской краской, неподвижной пока что грудой.

Мишин спокойно взял одну, всего-навсего, книжку и поставил ее на широкий подоконник, плотней прислонив к стеклу оконному, так, чтобы обложка с улицы сразу была заметна.

Через десяток секунд к нам подбежал, запыхавшись, в кафе ворвавшийся с улицы взмыленный гражданин средних советских лет.

И с ходу спросил:

— Ребята, где брали «Антимиры»?

Коля ему ответил задумчиво и протяжно:

— Там, где брали, больше их нет!

Гражданин покосился на груды книг возле нашего столика.

И робко спросил:

— А вы, ребята, не продадите?

Мишин сказал:

— Посмотрим!

И лукаво сощурил глаза.

Гражданин помялся и тихо шепнул ему:

— Мне одну!

Мишин сказал:

— Всего-то? Можем, пожалуй, продать!

— Сколько? — быстро спросил гражданин.

— Рупь! — ответил немедленно Мишин.

Гражданин, благодарно глядя на спокойного Колю Мишина, возликовал:

— Беру!

Он положил свой рубль на столик, жадно схватил выданную ему Колей Мишиным свежую книгу и, прижимая ее к груди, вне себя от счастья, выбежал из кафе.

В это время за нашими спинами раздался неровный гул.

Я оглянулся. Это монотонно и нервно гудела вроде бы небольшая, но мгновение за мгновением разрастающаяся толпа.

Из нее раздались вопросы:

— Где купили?

— Когда купили?

— Лишней книжки у вас не найдется?

— Экземплярчик не продадите?

Коля наметанным взглядом посмотрел на толпу, которую лихорадило от возбуждения, потом на «Антимиры», потом отсчитал десяток экземпляров и отложил их в сторонку, поближе к себе, подальше от остальных.

На все прочие экземпляры указал он толпе взбудораженной и сказал очень строго и твердо:

— По рублю. Братва, налетай!

Через минуту груды «Антимиров» не было.

Вместо нее на столике перед нами лежала стопка слегка измятых рублей.

В сторонке скромно лежали отложенные заранее рассудительным Колей Мишиным десять, всего, экземпляров книги, остаток недавнего буйного избытия.

Но тут за нашими спинами образовалось некое завихрение, и подлетел к нам интеллигентного вида юноша, хилый, в очках.

— Не продадите? — спросил он, показывая на стоящую на подоконнике книжку.

Мишин сказал:

— Пятерка!

Юноша вынул пятерку, положил аккуратно на столик, обнял книжку и удалился.

Мишин спокойно, с видом счетовода или бухгалтера, но вместе с тем и тщательно, трижды пересчитал деньги, образовавшиеся буквально из ничего, если и не из воздуха, то уж точно из антимилов, из книг, им закупленных впрок, из его фантастических действий.

— Все, Володя! — сказал он мне весело. — Жить можно. И даже нужно. Вот, возвращаю тебе твои тридцать рублей, на туфли. На все остальное — сегодня не грех нам и погулять!

И мы посидели с Мишиным в кафе. А потом куда-то дальше переместились в пространстве, всем нам распахнутом в ту пору, когда мы были так молоды, что не думали, — еще не успели просто как следует поразмыслить, еще не хотели, видимо, заранее огорчаться, еще не умели, может быть, предвидеть все то, что будет со всеми нами в грядущем, зовущем и жертвы ждущем, — о времени, сквозь которое пройти нам придется вскоре, чтоб слышать в небесном хоре то реквием, то величание, чтоб встречу сменяло прощание, а прощание новую встречу вызывало из яви, замечу, не совсем реальной, с астральным, жалящим исподволь, ответом, с мистическим ясным отзву-

ком, с призывом смутным боли, с присутствием доли и воли в мире, где все же есть о благодати весть.

С антимирами, в книжном варианте их, в виде груды свежеизданных книг, закупленных и розданных множеству жаждущих приобщиться как можно скорее к стихотворному, наиновейшему печатному русскому слову, небезвозмездно, конечно, человеком сметливым, практичным, летающим, ежели этого требуют обстоятельства, и всегда, заметьте, всегда приземляющимся, вопреки всем преградам и мелким частностям нашей, скучной весьма, повседневности, именно там, где надо, в нужный год, в нужный час, в нужный миг, всемогущим, в жанре своем, театральном, с игрой блестящей, с режиссурой, всегда новаторской, скромным жителем городка подмосковного, тихого Климовска, в недалеком прошлом учащимся ремесленного училища, ныне абитуриентом, поступающим в МГУ, поэтом, смогистом будущим, потрясающим всю Москву приключениями своими, фантастическим Колей Мишиным, наконец-то расстались мы так быстро, как это бывает, наверное, только в сказке, если сказку такую придумает не кто-нибудь там посторонний, но лишь один человек на свете, конкретно — Мишин.

Десяток оставшихся книг нести было проще, нежели здоровенную — прежнюю — груду.

Книги я разделил пополам.

Пять штук отдал Коле Мишину.

Пять своих — положил в сумку.

И шли мы куда-то вперед с другом Колей, вначале под солнышком, августовским, горячим, потом при свете горящих на каждом шагу огней, в центре столицы, вдвоем, ни секунды не сомневаясь в том, что в университет мы поступим с ним обязательно.

Свежеизданные четыре экземпляра «Антимиров» я отправил вскоре по почте бандеролями, вместе с письмами криворожским своим друзьям.

Один экземпляр — оставил себе. Он потом потерялся.

Но история с Вознесенским, не человеком, а книгой, на этом не завершается.

На вступительных, непростых, с напряжением нервным, экзаменах Коля Мишин с загадочным видом, будто делал он, от щедрот своих, величайшее одолжение, дарил всем экзаменаторам, по очереди, разумно, без ненужного перебора, по экземпляру свеженьких, новехоньких «Антимиров».

И все — брали их. С удовольствием.

И Мишину, человеку общительному, обаятельному, с достоинствами своими, перечь коих велик, но, если честно, не очень-то подкованному в науках, делали, может, на радостях, оттого, что стали нежданно, как-то вдруг, ни с того ни с сего, на рабочих местах своих, обладателями свежайшей, не достать ведь нигде, новой книги знаменитейшего поэта, откровенные, от души, как-то мягко, по-свойски, поблажки.

И это ему помогло сдать экзамены благополучно и поступить в МГУ.

И я поступил, без всяких даров и чих-то поблажек. Просто — все экзамены сдал, как и следовало, на отлично.

И нас обоих — зачислили.

Был, правда, один казус.

Так себе, незначительный, в общем-то. Но — характерный.

Когда был вывешен список зачисленных на отделение наше, искусствоведческое, мою фамилию в нем увидели мы немедленно. Была она в списке — первой.

А вот фамилии Мишина поначалу там вовсе не было.

В списке, из тридцати фамилий, по алфавиту, почему-то значилось: Мишман Николай Лукьянович. Бред!

То есть имя и отчество в списке, без сомнения, были Колины, а фамилию вот — подменили.

Во мгновение ока Мишин, возмущенный явной нелепостью, восстановил справедливость.

Потому что черным по белому напечатано в списке — читаем — Николай Лукьянович — кто это? Это он. Это Ми-шин. Мишин! Поступивший в университет.

А не какой-то там ненужный, неведомый Мишман.

Сотрудницы кафедры, сплошь растерянные, смущенные, тут же, прямо при Мишине, оплошность свою исправили.

Заработались. Утомились.

Опечатка — случайно — вышла.

Ничего. Все теперь в порядке.

Все отныне в полном порядке.

Волноваться больше не надо.

Поступил — действительно Мишин.

Никакого такого Мишмана больше нет. Это был фантом.

Есть в реальности, есть и в списке — вот, пожалуйста, — только Мишин!

И Коля тогда, на радостях, подарил сотрудницам кафедры искусствоведения одну — на всех, от щедрот своих, пусть по очереди читают! — последнюю, остававшуюся в его, личной, мишинской, собственности, книгу, слегка потертую, затасканную, Вознесенского.

И долго потом стоял у списка сдавших экзамены и зачисленных в МГУ, любясь в нем на свою, правильную, фамилию. Мишман — это из антимиров.

В мире нашем — есть только Мишин!..

А с Вознесенским не стал я больше видеться. Так уж решил я.

Не было в этом смысла.

Человек он, так я считаю, талантливый, даже очень.

Но — я это всегда говорю — смотря как распорядится человек талантом своим.

Эх, если бы не его пижонство неистребимое да еще кое-что, не очень-то приятное! — продолжать при желании можно, конечно, и мне, и другим, — да зачем?

Не статью ведь пишу сейчас.

Пусть кумекают и гадают, поскольку так им положено, по их это части, вроде бы литературоведы.

Летом, когда поступал в МГУ, и в начале осени — несколько раз позвонил я все-таки Вознесенскому.

Он сказал мне тогда:

— В МГУ, к вам, Володя, на искусствоведение, поступил Кублановский, Юра. Талантливый парень. Из Рыбинска. Он в вашей, конечно, группе. Я помог ему. Обратился к Федорову-Давыдову, чтобы Юре он посодействовал, — мы как раз с ним в одном самолете из-за границы летели. Юра очень меня просил помочь ему с поступлением. Я и помог. Познакомьтесь с ним обязательно. Может, подружитесь.

Разговор этот был, когда нас еще только зачислили.

Я нашел Кублановского. Юру.

Легко познакомился с ним.

Юра с ходу сказал мне, что он в МГУ поступил сам, полагаясь лишь на себя, на силы свои и знания. Вознесенский, мол, предлагал ему помощь свою, но Юра отказался. И вот — поступил.

Когда с первой ложью столкнешься, толком еще и не знаешь, что это именно ложь. Ну, подумал я, это, наверное, Вознесенский для форсу загнул. Чтобы знали: он кое-что может. А вот Юра — какой молодец, отказался от помощи. Сам, без протекции, поступил.

На исходе восьмидесятых, когда журнал «Огонек» был на гребне своей популярности, увидел я там короткое предисловие Вознесенского, врезку так называемую, к подборке стихов гонимого в минувшие годы властями советскими, за его незабываемые убеждения и деятельность диссидентскую, отбывшего в эмиграцию, а теперь, когда все изменилось к лучшему в нашей стране, возвращающегося на родину, и своими стихами, и собственной, патриотичной персоной, моего сокурсника бывшего и соратника даже, по СМОГУ, Кублановского, — там говорилось напрямую, что было дело, в свое время помог он Кубу поступить в МГУ, а еще говорилось, что мать Кублановского, работавшая не где-нибудь, а в горкоме партии Рыбинском, писала Андрею Андреевичу гневные, жесткие письма, требуя ультимативно не сбивать ее сына юного с истинного пути.

В конце девяностых в книге Вознесенского, мемуарной, «На виртуальном ветру», прочитал я снова о том, что помог он в шестидесятых поступить Кублановскому Юре, поэту, в московский вуз, только память, увы, подвела слегка постаревшего мэтра, многожды лауреата всяческих литературных премий, земных в основном, но, может, в числе их были и другие, из антимиров, многожды академика всяческих академий, и он МГУ перепутал с институтом педагогическим. Ничего, бывает. Исправим оговорку эту невольную.

Это Юдахин Саша учился в педагогическом. С помощью ли какой-то, без таковой ли вовсе, но учился и благополучно окончил свой институт.

Аберрация памяти, так иногда сейчас говорят.

И все-таки пробудился юмор у Вознесенского — и обозвал он, в лоб, не удержавшись, видимо, героя из диссидентов и страдальца из стихотворцев, эмигранта и патриота, Юру, по прозвищу Куб — а знатоки утверждают, что есть у него в Москве и совсем другие кликухи, кроме всем известной, «Кубло», в тех кругах, где вращается он, все вращается, крутится, вертится, превратившийся в функционера заурядного, вроде советских, ненавидимых им когда-то, но не лучше их ни на йоту, а еще и похуже, что делать, сам назвался груздем и сам лез и лез в пресловутый кузов или, может, еще куда, не в звериное ли кубло, ну тогда поминай как звали, там любому не до стихов, там свои порядки и правила, что-то всем там ума поубавило, если был вообще этот ум у кого-нибудь из как бы временной кодлы, стаи, банды, команды, не говоря уж о всяких дарованиях и талантах, — матерым, ни больше ни меньше, вот слово действительно точное, прорвавшееся сквозь хаос нынешний, литератором.

Вот уж, как говорят в народе, не в бровь, а в глаз.

Сказал, точно припечатал.

Или так еще: пропечатал.

Так проще. Резче. Доходчивее.

Лаконично, всего в два слова.

И образно, надо заметить.

С присущим ему, Вознесенскому, тяготением к парадоксам и негладким обобщениям.

Иногда я вижу его, Вознесенского, знаменитого и прославленного во всех странах шара земного, поэта, в ПЕН-клубе, куда при случае, изредка, потому что живу в ос-

новном в Коктебеле и в Москве бываю зимой, да и то не всегда, заглядываю, — например, на собрание общее, на которое всех зовут, или на вечер, похоже, ставший традиционным, предновогодний, домашний почти, в основном для своих.

Он сидит, неподвижный, седой, постаревший очень, обрюзгший.

На губах его то ли улыбка, то ли так, непонятно что.

Молчит. Никого, ничего вокруг — не видит, не слышит.

Я с ним разок поздоровался — не слышит. Ну и не надо.

Во времена СМОГа по нему проходились охотно всяческие удалые смогисты, в своих доморощенных лозунгах и манифестах.

Может, с тех пор затаил он какие-нибудь обиды в душе, на кого — неизвестно? И таит их доселе? Не знаю.

Никаких манифестов и лозунгов я лично не сочинял.

И его никогда не клеймил.

Зачем? Не в моих это правилах.

Если надо — в глаза говорю человеку любому то, что о нем, человеку, думаю.

Кублановский — тот в прежние годы крыл его с удовольствием явным, неизменным, в нашей компании, а сам — потихоньку ходил к нему, годами, общался с ним, и там, полагаю, совсем другое поэту пел.

Каждому, вот уж действительно, в жизни, где все относительно, кроме совести человеческой, кроме чести, и правды, и грусти, и радости, и поэзии, и любви, и надежды, и веры, и всего вообще, из чего состоит эта жизнь, — свое.

Но деятельность неприличная некоторых смогистских псевдогероев-общественников, полагаю, наверняка его когда-то задела.

Может, с тех самых пор и отключился он от всего, что ему, поэту, существовать мешает?

Нет, конечно же! — знатоки тут же встрянут. Но — кто его знает!

Человек весь в себе. Он теперь генерал. Он давно генерал. Даже больше. Давно уже — маршал.

Он везде. Там, где премии нынешние раздают (по жребию, что ли?). На тусовках. На презентациях.

Иногда стихи его вижу я, новые, междувременные, их обычно на целую полосу дают, от щедрот газетных, а то и на разворот, с размахом, в том самом «Московском комсомольце», где работал так долго Аронов, автор песни неувядаемой «Иметь или не иметь», где работает вроде бы, точно я не помню, Мнацаканян, друг поэта покойного Шленского, автора строчки, похожей на деталь из вечного двигателя, «колеса, колеса, колеса», или, может, уже не работает, а работает где-нибудь, ну допустим, в «Литературке», потому что работать следует всем и каждому в мире этом, и колеса зримые вертятся, с ними вертятся и незримые, вместе с битовским «Колесом», вместе с гоголевским, известным всем на свете, из «Мертвых душ», вместе с давним еще, платоновским, паровозным, деповским, едущим к Чевенгуру и в котлован, и с троллейбусным, окуджавским, по Москве сквозь рассвет плывущим, и с любым, вообще, колесом, если звук его невесом, словно призрак или фантом, если образ его, на потом, укатиться стремится в даль, где ищи-свищи, вот печаль, человека, днем, с фонарем, даже с лучшим поводырем, уводящим вас в небеса, — нет покоя без колеса, нет покоя и с колесом, кроет ночь козырным тузом всех, кто исподволь шестерят, и костры вдалеке горят — там, наверно, колеса жгут, там вершат, видно, Страшный суд, там готовят страшную месть, взяв из Гоголя эту весть, позаимствовав сто колес, чтоб решить им большой вопрос: есть ли жизнь на Марсе? — увы, вся она — посреди Москвы.

Постоянно вижу его, Вознесенского, по телевизору. Как включишь — так Вознесенский. Молчит. Смотрит в дальнюю точку. Седой. Одного только Битова, пожалуй, из всех литераторов, так же часто людям показывают. Потому-то и получается у них, героев экрана, по-ударному, не по-стахановски, да куда там, бери повыше, в космических, по масштабности, виртуальных, по необходимости, визуальных, самых удобных, по доходчивости всегдашней, при приемлемости, зрачком человеческим, нужных ритмах, работа на пересменку. Включишь ящик разок, наобум, — пожалуйста, вон он, Битов, сидит, как седой азиат, с караваном своим по Великому шелковому пути прошедший от Петербурга до Бухары и обратно в Петербург, с заездом в Москву или с выездом за границу, в неизвестные нам, землянам, россиянам нынешним, бывшим просто русскими в годы былые, благодатные, дивные страны, глядит в объектив телекамеры, заглядывая в Зазеркалье, о чем-то мудреном, таком, в чем сам заплутать способен без нити спасительной, вовремя протянутой Ариадной, его теперешней Музой, заступницей верной, вещает, — включишь еще разок — вот он стоит, Вознесенский, в шарфике, сложенном кукишем, улыбается и молчит, потом — вещающий Битов, следом за ним — Вознесенский молчащий, друг дружку сменяют, друг за другом исправно мелькают. А иногда их и вместе показывают. Бывает. Важные птицы, право! Генералы. А может, и маршалы.

И матерому литератору, новоявленному, Кублановскому, — ох как до них далеко!..

Однажды, в том же ПЕН-клубе, в центре Москвы, сижу я на встрече предновогодней ПЕН-клубовцев — и скучаю.

Я не пью. Все вокруг — пьют и давятся бутербродами, на халяву.

Рядом со мной сидит разжиревший, с мешками лиловыми под глазами, с носом разбухшим, хулиганами подмосковными когда-то сдвинутым набок и не слишком удачно выпрямленным, с животом восточного хана, с изуверской улыбочкой хама, с бутербродными липкими крошками на покато плече эгоиста, карьериста (в прошлом — смогиста, как ни странно), с бутылкой вина, со стола по привычке прихваченной, под мышкой, с полным стаканом в правой руке, а в левой — с недоеденным, по причине болтовни своей, бутербродом, в пиджаке заграничном, в штанах заграничных, в ботинках фирменных, с бородачкой седой Кублановский.

Рядом с ним — элегантная Зоя Богуславская, всем известная писательница, супруга вернейшая Вознесенского.

За нею — сам Вознесенский.

Куб, к дармовому питью основательно приложившийся, с Богуславской, воспитанной, вежливой, оживленно, как в баре пивном посреди бесчатья, болтает, никого вокруг не стесняясь, не стесняясь меня совершенно, при мне поливая грязью нашего друга общего, чудесного Диму Борисову, называя его, человека достойнейшего, светлейшего, представьте себе, раздолбаем (словцо это я смягчил, Куб выражался — матерно).

Богуславская слушает Куба вроде бы очень внимательно.

Я смотрю на Куба не просто с возмущением, но и с ужасом и толкаю локтем его в бок: что ты мелешь, мол, праведник липовый, жуткий страдалец, согласно твоей мифологии, и в своем ли ты нынче уме, и не стыдно ли, боров жирный, эмигрант, возвращенец, начальник, солженицынский прихвостень старый, интриган и завистник, тебе? — а литератор матерый, заматеревший так, что обомшел окончательно, корнями корявыми врос в подмосковную почву скудную, переделкинскую, лесную, литераторскую, махровую, как говорится в народе пронизательном, ноль внимания, и все продолжает что-то неприличное, непотребное, не обращая, конечно, на меня никакого внимания, слушая только себя, любимого, заливать.

Вознесенский сидит с неподвижным лицом, с улыбочкой вынужденной, неизвестно кому адресованной, в метре всего от меня.

И не видит меня. Вообще никого из людей вокруг, ничегошеньки просто, не видит.

Лишь присутствует. Или — отсутствует.

Где — неведомо. Весь в себе.

Я не вижу его, Вознесенского, рядом с ним давно находясь.

Куб не видит его, а видит почему-то лишь Богуславскую. Вознесенский не видит Куба.

Вокруг спешат поскорее да побольше, само собою, выпить и закусить гуляющие за счет столичного заведения перед Новым годом ПЕН-клубовцы.

Антимиры. Похоже.

Боже, ну и картина!

В углу, стыдливо задвинутый подальше от глаз нехороших, смотрит на дикое сборище властителей дум человеческих Андрей Платонов, изваянный из дерева другом его, покойным Федотом Сучковым, и подаренный кем-то ПЕН-клубу.

Генрих Сапгир, тогда живой еще, под хмельком, вспоминает что-то свое, из старого, из псалмов, про сборище нечестивых.

Бесенятами, глупо хихикая, с ужимками обезьяньими, влетают с улицы в комнату и бросаются с ходу к столу халявному вроде бы модные нынче поэты, Лева Рубинштейн, с авангардным, наверное, меланхоличным носом, глядящим на запад, в соплях, и Тимур Кибиров, фамилия которого, настоящая, как сказали мне люди, знающие, что почем, кто есть кто, на деле, без каких-то там псевдонимов или мифов, просто Запоев, с улыбочкой, маслом смазанной, напоказ, любителя жареного, подпрыгивая на месте, взлетая вверх, кувыряясь в прокуренном воздухе комнаты, друг дружку игриво хлопая на лету, на ходу по задницам.

Где ты, Миша Деза, со своим восклицанием, всех шокировавшим когда-то, по этому поводу, обращенным к пьяному вусмерть дружку твоему закадычному, кудрявенькому Аронову?

Сквозняком вдувает сюда работного беса Пригова, состоящего в основном из оскаленного однажды, для пробы, для новой эстетики, да так навсегда и застывшего в оскале этом, привычном и удобном, наверное, черепа.

Игорь Сергеевич Холин, тоже еще живой в ту пору, седой, прямой, сидит по другую сторону от меня, подмечая штрихи и детали всеобщего бреда, молчит, очками сверкая, и все про себя констатирует.

Кублановский все распинается, неизвестно зачем, перед слушальницей терпеливой его, Богуславской.

Вознесенский сидит и молчит.

Я встаю. Ухожу отсюда.

Ну и жизнь на московских холмах!

Третий Рим! Имитация встреч, вечеров, тусовок, бесед, общих и частных собраний.

Босх. Булгаков. Гоголь. Щедрин.

Сон? А может быть, наважденье?

Вознесенский за Кублановским, Кублановский за Вознесенским в Переделкино улетают.

Надо же — Пастернак весь пейзаж там давно уже выпил, как заметил с горечью Битов.

Что осталось там для Кублановского?

Вознесенский — тот весь в себе.

Вещь в себе. Или — весть в себе.

(Страсть, и власть, и напасть — в себе?)

Куб страдает, психует, бедняга:

опоздал, не дорвался до блага!

Что удержит от ложного шага?

Только речь. Только верность судьбе.

* * *

...Однажды, в студеную пору зимнюю, по Некрасову, из хрестоматии школьной, где мужичка с ноготок встретил, из лесу выйдя, в сильный мороз поэт, или попросту в зимнюю пору, московскую, с белым снегом за синим замерзшим окном, в январе шестьдесят пятого, еще до рождения СМОГа, сидели мы, помню, втроем — я, Леня Губанов, не пьяный, но и не очень-то трезвый, так себе, не поймешь, серединка на половинку, и жизнью вполне довольный, улыбочивый Коля Мишин — у меня, в коммунальной, ставшей, за прошедшие несколько месяцев жизни моей студенческой, моим надежным пристанищем, а также приютом для некоторых друзей моих, славной комнате на Автозаводской улице.

Я тогда еще обитал там.

В университетское тошнотворное общежитие пришлось перебраться мне чуть позднее, уже в феврале.

Жилье отдельное, собственное, пусть и временное, в Москве — это многое в те времена молодые, поверьте мне, значило.

Пусть была это заурядная, просто-напросто, коммуналка, но с соседями был я в ладах, знал их еще с моей первой московской, незабываемой осени шестьдесят третьего года, старался вести себя здесь прилично, да и они ко мне относились вроде с добром.

Комната эта, в доме, расположенном в глубине сразу нескольких, в меру просторных и почти безлюдных дворов, так удачно, что шум с оставшейся в стороне, заполненной транспортом и народом, к метро спешащим или, наоборот, расходящимся, разъезжающимся от метро, немного провинциальной с виду, с запущенным сквером посередине, улицы не доносился сюда, где прямо перед широким, во всю стену, двойным окном поднимались большие деревья, а на карниз то и дело прилетали целыми стаями подкармливаемые мною городские ленивые голуби, а прошедшей осенью к стеклам прилипали мокрые, сорванные налетевшим ветром с ветвей, листья желтые, и потом, незаметно совсем, пришла зима, да еще и с изрядными, знать дающими о себе непрерывно, везде, морозами, которые, вот уж досада, особенно часто чувствуешь, когда пальто у тебя слишком легкое, вовсе не зимнее, да и другая одежда больше, пожалуй, годится для жизни на Украине, чем для этой вот, нынешней, новой, оказывается, холодной, на московских просторах, зимы, и для жизни, странной, заманчивой, молодой, интересной, радостной, в эту пору года холодную, — комната эта, по счастью, теплая и вполне, как выяснилось, уютная — для меня, в то время, была именно тем, историческим, как теперь считается, местом, где, начиная с минувшего, всем нам памятного, сентября, крепла моя идея о содружестве нашем грядущем, где, собственно, по-настоящему и зародился СМОГ.

Были мы здесь втроем.

И уходить отсюда никуда я не собирался.

День еще продолжался, но время неуклонно близилось к вечеру.

Замечал я, что Лене Губанову, похоже, что-то неймется.

Ему постоянно требовалось куда-то срываться с места, ехать в метро или плотно забитым людьми автобусом, туда, где ждали, порою терпеливо, долго, приезда гостей,

потому что путь в районы эти окраинные оказывался неблизким, ему общение было необходимо именно как воздух, для энергетической подпитки, вполне возможно.

Вот я и видел, что он уже мается, начинает томиться временным даже, для него ненужным, спокойствием.

«Наверное, скоро ему в голову что-то придет из ряда вон выходящее», — подумал я. И невольно сразу же насторожился.

И точно. Чутье меня и на сей раз не повело.

Губанов, порывшись в карманах, нашел измятую пачку сигарет и коробку спичек, достал сигарету из пачки, повертел ее в длинных пальцах, размял, потом закурил.

Нос его хулиганский вдруг заострился. Ноздри начали раздуваться.

Лицо его как-то вытянулось и негаданно побледнело.

Глаза его, с увеличившимися, угольными зрачками, уставились прямо в стену, в одну, лишь им различимую на плоскости ровной точку.

Губы его, припухшие, искусанные, шевелились.

Ямочка на подбородке подрагивала, становясь похожей на шрам ножевой.

Голову он то вниз опускал, до уровня плеч, то высоко закидывал, и челка его при этих движениях шевелилась, и на лбу собирались морщины широкими, длинными складками, напоминая волны, поднятые налетевшим внезапно и всех заставшим врасплох, прохладным, напомнившим об осени, подходящей вплотную к песчаному берегу, свежим, как родниковая вода, морским ветерком.

Он курил, отрешась от всего, что вокруг находилось, рядом, от всего, что было на месте в этот зимний день, — и молчал.

И вот его, как случилось не единожды с ним, прорвало.

Нервно, демонстративно загасив свою сигарету, он обратился к нам с Мишиным.

Причем в его хриповатом, но уже густеющем голосе моментально я различил хулиганистые, отчаянные, серебром звенящие нотки, что уже говорило о том, что Леня понял, чего ему хочется, принял решение — и, похоже, намеревается изложить его вскорости нам.

Губановские капризы, его спонтанные действия были уже привычными.

Что же будет на этот раз?

Губанов сразу же взял, по-мужицки, быка за рога.

— Сидим тут, сидим да сидим, — начал он свою речь на повышенных, приказных, командирских тонах, — время свое золотое зря совершенно тратим. Выпить бы на троих — денег на выпивку нет. В гости пойти бы — ни с кем не сообразили заранее договориться. Тоска!

Я спросил:

— Ты к чему это, Леня?

— Пусть, пусть говорит! — заявил встрепенувшийся Коля Мишин.

— Я вот и говорю. Очень даже ясно, яснее не бывает уже, говорю! — сказал, как отрезал, Губанов. И прибавил, для веса: — Тоска!

— Мне, например, не скучно. И никакой тоски я вовсе не ощущаю, — сказал рассудительно я.

— Скучно, скучно, чего там! — живо поддержал Губанова тут же почувывший приближение чего-то весьма необычного Коля Мишин. — Тоска, да и только! Леня правильно говорит.

— Кое-кто меня понимает, — продолжил Губанов и пристально, выразительно посмотрел на Мишина, а потом с прищуром и на меня. — А кое-кто и не очень, я вижу, меня понимает. Но сейчас, надеюсь, поймет.

— Говори, говори, Леня! — опять подыграл ему Мишин.

— Вот я и говорю, что скучно мы нынче живем! — подчеркнул специально Губанов. — Кто мы такие? Поэты. Мы с Алейниковым — вообще гениальные, нет нам равных. Да и ты, Коля, парень талантливый. В Москве все знают нас. Любят. Со многими современниками уже мы знакомы, и даже хорошо, я считаю, знакомы. Но с одним человеком еще не знакомы. А с ним поскорее надо бы познакомиться. Он серьезный. Как раз его-то мнение многое значит.

— Кто это, Леня, кто? — нетерпеливо спросил, напрягаясь немедленно, Мишин.

— Кто же, и в самом деле? — проявил интерес и я.

— А я вам скажу сейчас, кто это! Не догадались? — Губанов здесь выдержал паузу, нарочно, и только потом, заранее предвкушая эффект от своих слов, сказал, как будто и просто, но меж тем с немалым значением: — Это, парни, сам Эренбург!

— Ну и что? — пожал я плечами. — Здесь нет ничего удивительного. Мало ли с кем еще мы до сих пор не знакомы. В том числе и с весьма уважаемым всеми нами «самим» Эренбургом.

— Почему это — «ну и что»? — возмутился, вскипев, Губанов. — Так нельзя. Непорядок. Хочу познакомиться с Эренбургом.

— Ты успокойся, Леня! — сказал ему я тогда, терпеливо, спокойно, доходчиво. — Всем известно, что Эренбург — человек занятой. Даже очень. Так вот просто к нему не приедешь. Да и зачем он тебе, объясни-ка мне толком, понадобился? Ты что, вот с этого дня жить без него не можешь? Прекрасно ведь, преспокойно, без всяких страданий, обходишься. Тебе знакомых своих вполне, полагаю, хватает. И потом, согласишься, не фыркай, так уж и ждет он тебя, если даже он и находится не где-нибудь за границей, в Париже своим любимом, например, или, может, в Нью-Йорке.

Губанов даже обиделся.

Так вот всегда бывало.

Если ему приспичило, если задумал он что-нибудь, так вынь ему да положь.

И желательно — поскорее.

А лучше всего — без всяких проволочек, сию же секунду.

— Ни фиги себе! — протянул он, поморщившись. — Ну и заявки! А я, Леонид Губанов, — тут он этаким удалцом встрепенулся, плечи расправил, ногой принялся настойчиво, нетерпеливо притоптывать, — хочу, да, хочу познакомиться с Эренбургом. Имею право на знакомство. Желая этого. Немедленно. Прямо сейчас.

— Ну и желай себе на здоровье! — сказал я. — Только, по-моему, все это — самая обычная, Леня, блажь.

— Ну ты даешь! — воскликнул Губанов. И для подстраховки обратился призывно к Мишину: — Нет, Коля, ты слышал? Слышал? Как тебе это нравится? Получается — блажь у меня! А я, гениальный поэт русский, — всего-то-навсего повидаться хочу с Эренбургом.

Тут Мишин отчетливо понял, что пришел его светлый час.

Авантюрная жилка его запульсировала, разыграла.

На губах его появилась характерная, непростая, предвещающая обычно приключений новых начало и чудесное их продолжение, вроде нынешних сериалов, только лучше намного, улыбочка.

И в глазах его тут же сверкнули развеселые огоньки, и это всегда означало, что он включился в игру.

— Эренбург? — деловито спросил он Губанова. — Мысль хорошая. С Эренбургом пора познакомиться. Он человек толковый.

— А я о чем говорил? — моментально взбодрился Леня. — Эренбург нам нужен, и все тут.

- Нужен, так будет наш! — веско сказал ему Коля.
 - Ну так надо его повидать.
 - Сделаем! — коротко бросил Мишин. — Какие проблемы? Запросто. Хоть сейчас.
 - Но как? — тут даже Губанов опешил и озадачился.
- Мишинский тон уверенный глубоко его поразил.

— Раз плюнуть! — сказал Коля Мишин. — Подумаешь, важность! Пара пустяков. Да просто — пустяк.

Он полез в карман пиджака. Порылся немного в нем.

Вытащил неторопливо замызганную записную книжку. Небрежно раскрыл ее. Секунды три полистал.

— Так, — сказал он, почти по-военному, отрывисто. — Адрес есть. Улица Горького. Дом этот я хорошо знаю. Собирайтесь, да побыстрее. Вот прямо сейчас и поедем.

— Коля, ты думаешь, что говоришь? — спросил я его.

— Думаю! — отрубил Мишин. — И знаю, что делаю. Ну чего вы оба сидите? Собирайтесь. Время не ждет.

Мы с Леней переглянулись.

«Ну, — подумал я, — снова мишинские истории начинаются. Не знает и впрямь угомону Коля, „ужасный рыжий мужичок“. Так ему и хочется выкинуть что-нибудь новенькое!..»

— Поехали быстро, поехали! — поторапливал нас Мишин.

Сам он мигом надел пальто, натянул на голову шапку.

Мы с Леней еще разок переглянулись — и тоже надели поспешно пальто.

Причем я успел заметить, что у Губанова тоже на губах появилась этакая боевая, с огнем, улыбочка.

В это время, как по заказу, в коридоре, за дверью, которую собирался я открывать, чтобы выйти всем нам из комнаты моей, зазвонил телефон.

— Володя, тебя! Иди! — позвала меня громко соседка.

Я вышел, уже одетый, чтобы идти на улицу, в пальто и в шапке, взял трубку.

Звонил Кублановский. Ему было скучно. Хотел он общения.

Не успел я толком, спокойно, чтобы Юра хоть что-нибудь понял, ничего ему объяснить, как в коридор из-за двери выглянул Коля Мишин.

— Кто звонит? — спросил он меня. — Куб, конечно? Дай-ка мне трубку. Скажу ему пару слов.

Протянул я Мишину трубку.

— Юра! — сказал солидно, командирским, поставленным голосом, чеканя каждую фразу и ритм соблюдая, Мишин. — Мы втроем — я, Володя и Леня — прямо сейчас уезжаем к Эренбургу. Он ждет нас. Да, ждет. Очень хочет увидеться с нами. Сказал, чтобы срочно к нему, как можно скорей приезжали. Мы уже собрались уходить, в пальто стоим. Ты случайно застал нас. Еще минута — и мы, втроем, отвалили бы. Если хочешь, а ты, наверное, очень хочешь, я это чувствую, то и сам приезжай туда. Хочешь? Что? Повтори. Не слышу. Очень хочешь? Ну да, понятно! — Мишин, выдержав нужную паузу, нарочито громко вздохнул, а потом подмигнул нам с Губановым. — Вообще-то, Кубик, он ждет именно нас троих. А про тебя ведь ему ничего мы не говорили. Что? Ты мечтаешь с ним увидеться? Страстно мечтаешь? Ну так мало ли кто мечтает! Многие люди мечтают побывать, хоть один разок в жизни, у Эренбурга. Нет, наверное, ты оставайся там, откуда звонишь. А мы поедем. Пора. Нас ждут. Согласись, неудобно как-то брать с собой к Эренбургу в гости еще одного человека. Что-что?

Погромче скажи. Ты уже с ним однажды виделся, говоришь? Когда? Ах, из Рыбинска еще приезжал? Понятно. Что? У тебя даже справка есть? Что за справка? Так-так. Он сам тебе ее выдал? Ну, это совсем другое дело, Куб. Если справка, выданная Эренбургом, имеется у тебя, то, пожалуй, и ты к нему тоже тогда приезжай. Мы скажем Илье Григорьевичу, что ты тоже наш, да еще и со справкой. Адрес ты знаешь? Что? Записная книжка твоя осталась в общаге? Ну, тогда бери авторучку и хоть на ладони записывай! — Мишин снова достал из кармана свою записную книжку и продиктовал Кублановскому адрес. — Ну все. Нам некогда. Ехать пора. Приезжай туда часа через два. Ждем тебя. И не опаздывай! Понял? Ну то-то! Смотри, вовремя появляйся. Ни секундой позднее, ровно через два часа. Ну пока!..

Мишин привычным жестом положил телефонную трубку на место — и засмеялся.

Мы с Губановым, ровным счетом ничего еще не понимая, удивленно, тревожно смотрели на довольного разговором непонятым, веселого Колю.

— Куб звонил, — пояснил Мишин. — Сказал, что страстно мечтает побывать, вот сейчас, немедленно, вместе с нами, у Эренбурга. Очень просился. Рвался с нами объединиться. Между прочим, сказал мне гордо, что у него даже справка от Эренбурга есть.

— Какая еще там справка? Что за чушь? — спросил его я.

Но это ведь был Мишин. А Мишина надо было знать. Он уже был — в действии, в игре. Он уже разыгрывал свой очередной спектакль.

— Куб сказал, что когда он из Рыбинска своего приезжал к Эренбургу, то Илья Григорьевич принял его дружелюбно, приветливо и даже выдал ему для властей, для гонителей рыбинских, специально личную справку. И Кубик ее с тех пор повсюду носит с собой. Как реликвию. И сейчас она у него с собой. Пусть приезжает часа через два. Заодно и увидим, что у него там за справка!

— Ну, Коля, прямо сплошные чудеса! — изумился я. — Какие-то личные справки от Эренбурга у Куба!

— Привычка к бумажкам советская! — едко заметил Губанов. — Канцелярщина. Весь он насквозь, этот Куб, служебный. С печатями. И с подписями начальников. Размашистыми. С завитушками. Карьерист, эти его так и разэтак! Жук. Бюрократ. Хитрожоный. Чиновник хренов! Эгоист и службист. Вы попомните слова мои, будет еще он сидеть в редакции толстого журнала, в роли заведующего отделом поэзии. Где-нибудь в гребаном «Новом мире». Именно там. Я знаю. И что? Вы, наверно, думаете, будет он там своих друзей печатать когда-нибудь? Вот! — Губанов сложил внушительную фигуру и резко выдвинул ее прямо к нам, вперед. — Вот что увидят друзья! Только тех он будет печатать, кого ему, Кубу в квадрате и в кубе квадрату, выгодно. Плевать ему будет на дружбу. И даже, прости меня, Господи, — тут Губанов перекрестился, исто-во, суеверно, — и на поэзию даже будет ему глубоко, из кресла его, наплевать. Вот увидите. Гадом буду, если это будет не так! Ишь ты, справка есть у него. Ну ладно, справка так справка. Куб со справкой — это уже не куб, а квадрат с хвостиком. Интересно мне, а печать на эренбургской справке тоже есть? Наверное, личная. Как же Кубу — и без печати? А если, пока что, и нет ее даже, то он ее в другой печати получит. В той самой, официальной. В журналах и в книжках своих. Везде он печататься будет. Вот увидите, он-то — будет. Если справку носит с собой, на всякий пожарный случай, то везде, где возможно, пролезет. Документ, ничего не скажешь! А потом он и в секретари союза писателей, запросто, шустро, пролезет. В начальство. И депутатом еще может стать. Солидная должность. А если и не депутатом, то помощником депутата. Важным будет Куб, вот увидите! Что ему? Он всегда — со справкой!

— Да брось ты, Леня, по новой заводиться с пол-оборота! — сказал я. — Что это ты пророчишь, такое вещаешь?

— Я наперед все вижу! — отрезал твердо Губанов. — Как сказал я, так все и будет. Вот вы, — он сразу обеими вытянутыми руками показал на меня и на Мишина, — вот вы, оба друга моих, это сами еще и увидите! И ты, — он ткнул Колю Мишина длинным пальцем в грудь, — и ты, Мишин, тоже будешь когда-то начальником!

— Да ладно тебе, Губаньч! — заулыбался Мишин.

Губанов, несколько взвинченный пророчествами своими, достал сигарету из пачки полупустой, нашарил на ощупь спички в кармане — и порывисто закурил.

Мишин вдруг спохватился:

— А чего это мы стоим? Едем, едем! Давно пора.

Мы выбрались из дому в зиму, в морозную, с хрустом льдинок под ногами, с кружением снежинок над округою всей, белизну, в синеву небосвода, густеющую, лиловеющую, темнеющую на востоке, тихонько веющую ветерком, тербящим ветви в дремоту впавших деревьев, чернеющих вдоль ограды пустого, длинного сквера, добежали втроем до метро.

По прямой, от «Автозаводской» до «Сокола», прежней линии, доехали быстро до центра.

Потом по улице Горького, по правой ее стороне, подниматься начали вверх.

Прошли вдоль нескольких слишком больших и длинных домов, где, судя по слухам, жила, обитала, скажу нарочно, чтобы выделить это, серьезная, с привилегиями немалыми и заслугами перед отечеством очевидными, элитарная, в небожители не годящаяся, но в земном раю пребывающая, по народным, простым понятиям, начальственная, советская, только так и никак иначе, неприступная, сытая публика.

Вел нас — Мишин. Он шел впереди. Оглядывался иногда — и помахивал нам рукой: быстрее, мол, ребята, двигайтесь.

Мы свернули во двор кондового, добротной постройки, сталинских архитектурных времен, серого, мне показалось, на фоне снега и неба, на белом и темно-синем, а может быть, и не серого, но мглистого вроде бы дома.

Поднялись на нужный, известный только Мишину, как и все остальное сегодня, этаж.

Оказались у двери квартиры.

Дверь как дверь. Ничего в ней особенного нет. Но там, за нею, в квартире, там, внутри, как в отдельном, личном, посреди столицы устроенном для себя, писателя, мире, выезжая оттуда порою в заграничные страны и вновь неизменно туда возвращаясь, чтобы там, в тишине, в покое, над своими воспоминаниями и другими вещами работать увлеченно, живет Эренбург.

Мы с Губановым переглянулись.

Как-то странно все получается: захотели — и вот мы — пришли.

Не слишком ли это дерзко?

Не пошлют ли куда подальше нас отсюда? Может, одуматься — и, покуда не поздно, уйти самим подобра-поздорову, без всякого лишнего шума, по собственной воле, спокойно, с достоинством, но — уйти?

Ну подумаешь — блажь губановская!

Да, приспичило. Было дело.

Захотелось ему непременно познакомиться с Эренбургом.

А теперь вот — не очень хочется.

Даже больше — совсем не хочется.

Преспokoйно можно без этого нам, по совести, обойтись.

Губанов заколебался.

Действительно — как нам быть?

Я решил, что лучше всего потихоньку отсюда отчалить.

Поигрались — и ладно. Хватит. Всему — своя мера, свой час.

Посмотрел я на Леню внимательно.

И увидел: он, вдохновитель этой вылазки дерзновенной, тоже хочет отсюда уйти.

Но Коля Мишин, герой московских преданий древних, вовсе не думал сдаваться.

Наоборот, он только начинал еще свой спектакль.

Человек-театр был в ударе.

Остановить его было уже невозможно.

И я, поглядев на него, смирился и с мишинской прытью, и с недавней губановской блажью, и с приездом нашим спонтанным к незнакомому человеку и стал, как не раз и не два, но действительно много раз бывало, когда начиналось новое Колино действо, когда его лицедейство превращалось в нежданное празднество, за которым всегда вставало неременное волшебство, просто ждать: что же будет дальше?

Мишин сделал нам знак — подождите, мол, все в ажуре, все в полном порядке, будет вам Эренбург, ребята, — и уверенно позвонил.

Раздался громкий звонок.

Дверь открылась довольно скоро.

На пороге стояла спокойная, миловидная, пожилая, как тогда показалось нам, женщина. Ну а лучше сказать бы — дама.

— Здравствуйте. Вы к кому? — дружелюбно спросила она.

— Здравствуйте! Мы к Илье Григорьевичу пришли! — сказал ей приветливо, вмиг проявив свое обаяние, но достаточно твердо Мишин. — Ведь сейчас он дома, я знаю.

— Да, Илья Григорьевич дома, — согласилась дама. — Но он очень занят. Ну, коли пришли вы, то что мне сказать ему? Кто вы?

— Скажите Илье Григорьевичу, что пришли молодые поэты! — отчетливо произнес, глядя даме прямо в глаза доверительно, Коля Мишин.

Дама слегка улыбнулась.

Потом, помедлив, промолвила:

— Ну, хорошо. Подождите, пожалуйста. Я сейчас ему расскажу о вас.

Она аккуратно, плотно, прикрыла дверь за собою и бесшумно исчезла за нею.

Мы стояли втроем на площадке между лестничными пролетами и ждали — то ли желанного возвращения дамы, то ли появления доброй феи, за которым пойдут чудеса.

Дверь между тем приоткрылась.

На пороге вновь появилась миловидная, тихая дама.

— Илья Григорьевич просит передать вам, что он очень занят. Приходите к нему через месяц. Всего доброго! — и хотела закрыть за собою дверь.

— Подождите-ка! Извините. Не спешите! — сказал ей Мишин. — Передайте Илье Григорьевичу, что пришли к нему настоящие, талантливые, молодые, сами видите нас, поэты!

— Хорошо. Подождите! — сказала дама и скрылась за дверью.

Мне все это совсем не нравилось.

— Ребята, пойдемте отсюда! — сказал я Губанову с Мишиным. — Лишний раз убеждаться не надо: Эренбург — человек занятой.

Леня хмыкнул и промолчал.

А Коля только и бросил:

— Спокойно, спокойно, парни!

Дверь скрипнула и открылась.

Появилась милая дама и сказала такие слова:

— Илья Григорьевич просит вам передать, что раз вы талантливые молодые поэты, то приходите к нему через две недели.

Дама хотела, видимо, попрощаться и поплотнее закрыть за собою дверь.

Но дама не знала ведь Мишина.

А Мишина, человека из Климовска, — надо знать.

Если он что-то задумал, ежели это естественно вписывается в перечень бесконечный его артистических, небывалых порою историй, то замыслы он свои непременно осуществляет.

— Погодите! — сказал ей Мишин. Он весь подтянулся, этак гордо, с достоинством, выпрямился и, чеканя каждое слово, не выкрикнул и не вымолвил, а как-то вроде пропел: — Передайте Илье Григорьевичу, что пришли к нему в кои-то веки гениальные молодые поэты! Он все поймет.

— Хорошо. Сейчас передам. Подождите меня, пожалуйста! — сказала милая дама и тут же скрылась за дверью.

Вскоре дама вышла к нам снова.

Она светло улыбалась.

— Сказал мне Илья Григорьевич, что если уж гениальные молодые поэты к нему в кои-то веки пришли, то следует, несмотря на занятость, прямо сейчас встретиться с ними. Прошу вас! — и она во всю ширину распахнула дверь перед нами, приглашая войти в квартиру.

Мишин с победным видом посмотрел на меня с Губановым.

Посмотрели мы на него: ну и Коля, ну и герой!

И зашли, друг за другом, в прихожую.

— Снимайте ваши пальто вот здесь, — показала дама. — И проходите, пожалуйста, не стесняйтесь, вот в эту комнату. И немного еще подождите. Илья Григорьевич скоро освободится и примет вас.

Мы сняли свои пальто в прихожей и молча прошли в указанную миловидной, приветливой дамой комнату.

И стали в ней ждать, когда же примет нас наконец Эренбург.

В комнате, где мы теперь, можно сказать, случайно или, скажем и так, патетически, волей случая, находились, висели на стенах работы, под стеклами и без стекол, но всегда хорошо окантованные, живопись первоклассная и первоклассная графика.

Я присмотрелся. Марке. А это Дюфи. Матисс. Пикассо. Леже. И Шагал. Тышлер. А вот и Фальк...

Ничего себе! Ну и коллекция! Художники сплошь с мировыми именами, как на подбор. Нормальная, право, компания.

Свет в комнате, где висели работы друзей Эренбурга, присутствуя здесь привычно, давно, совсем по-домашнему, так, словно сами художники находились в гостях у хозяина, просто жили здесь, у него, был рассеянным, приглушенным.

Были мы предоставлены временно самим себе. Так уж вышло.

А поэтому, прежде всего, рассматривали картины.

Разглядеть их, все, при желании, можно было, но не без трудностей, с некоторым напряжением.

Прошло минут пять, наверное.

Потом прошло еще столько же.

Потом еще. И еще.

К Эренбургу, решившему встретиться с пришедшими в гости к нему в кои-то веки поэтами, молодыми, причем гениальными, как представил нас всех Коля Мишин,

человек боевой, настроенный на победу в любой ситуации, и тем более в нынешней, очень уж непростой, нас пока что не звали.

Я заметил вдруг, что Губанов снова начал томиться, маяться.

Похоже было на то, что, попав наконец к Эренбургу, он уже потерял к желанной для него, совсем ведь недавно, может, час-полтора назад, очень важной и нужной встрече, всяческий интерес, даже и не увидев широко известного взглядами своими передовыми, старого, знаменитого, с необычной судьбой писателя.

Губанов начал ходить по комнате, взад-вперед.

А потом он выкинул фортель: взял да и сделал стойку на руках, в самом центре комнаты, в окружении дивных картин.

Просто так. Захотелось, видать.

Постоял он вниз головой.

Посмотрел он с улыбочкой, с вызовом, снизу вверх на меня и на Мишина.

Потом встал пружинисто на ноги и обратился к нам с Мишиным:

— Все! Надоело! Вы — как хотите. А я ухожу! — заявил он без обиняков.

— Куда ты уходишь, Леня? — спросил его Коля Мишин. — Ты же хотел повидаться с Эренбургом. Я все устроил. Успокойся. Давай подождем.

— Ждите сами! — сказал Губанов. — Без меня. А я ухожу. Хватит с меня, выше крыши, этого ожидания.

— Это как-то вразрез идет с недавним твоим желанием, — сказал я ему, огорчившись. — Только сюда мы приехали, а ты уже, вот, мол, вам, сваливаешь.

— Мне уходить пора, — заявил преспокойно Леня, — меня Евтушенко ждет. У него сегодня премьера. Шостакович, вы, может быть, слышали, на его стихи замечательную музыку написал. «Бабий Яр» и другие стихи. Евтушенко меня пригласил. Отсюда недалеко ведь, как раз до Зала Чайковского. Если выйду прямо сейчас, в аккурат к началу концерта добежать успею туда.

— Какого же хрена ты, Леня, так долго морочил нам голову? — осерчал я и возмутился, да и было ведь от чего. — Сорвал меня с места, в морозы, вытащил из тепла. Колю настроил на подвиги. Эренбурга ему подавай, видите ли! Приехали. Ждем. Так чего же тебе надо? Зачем тебе Евтушенко? Еще немножко потерпи, ну самую малость, — и будет тебе Эренбург!

— Здравствуйте, молодые люди! — раздался в комнате негромкий, спокойный голос. Мы на голос, втроем, оглянулись.

В дверях, застекленных, двустворчатых, ведущих в тихую комнату с приглушенным, рассеянным светом, где, помимо картин многочисленных, находились нынче и мы, стоял невысокий, худой, сутулящийся человек, очень уже пожилой, с серебристо-седой головой, с узким, бледным, давно знакомым по бесчисленным снимкам, в книгах и в газетах, лицом, в потертом пиджаке, балахоном свисавшем с плеч его, узковатых, усталых, и в домашних растоптанных тапочках.

Это и был Эренбург.

— Здравствуйте, — очень вежливо сказал я. И тут же, смутившись, прибавил: — Илья Григорьевич!

— Добрый вечер! — сказал Коля Мишин.

— Приветствую вас! — подчеркнуто громко сказал Губанов.

Эренбург посмотрел на меня, потом посмотрел на Мишина, потом посмотрел на Губанова, улыбнулся — и протянул нам руку свою для приветствия.

Мы по очереди пожали его птичью, белую руку.

— Так это вы гениальные молодые поэты? — спросил, с нескрываемым интересом глядя на нас, Эренбург.

— Да, это мы! — спокойно и скромно ответил Мишин.

— Мы и есть! Гениальные. Точно! — с вызовом, с дерзким прищуром из-под челки ответил Губанов.

Я — не стал отвечать. Промолчал.

— Очень приятно увидеться с гениями! — сказал Эренбург. — Пойдемте ко мне в кабинет. Побеседуем там. Прошу. Пойдемте со мной.

Эренбург, пригласив нас троих, жестом привычным, следовать за ним, повернулся неспешно и направился, шаркая тапочками домашними по паркету и сутулясь, в соседнюю комнату.

И тут Губанов, прокашлявшись и подмигнув нам с Мишиным, — на фоне «парижских картин», если вспомнить стихи Мандельштама, где он пьет за военные астры и за все, чем корили его, и стихи самого Эренбурга, допустим, о Модильяни, или те страницы живейшие эренбургских воспоминаний, где впервые, в советское время, он поведал всем нам о Париже и внушил тем самым любовь к мировой столице искусства, где шестое, возможно, чувство пробуждается у людей в стороне от кремлевских идей, — вдруг окликнул громко его:

— Илья Григорьевич! Слышите меня? А, Илья Григорьевич!

— Да! — оглянулся на Ленин, с хулиганскими нотками, голос Эренбург. — Я слушаю вас.

— Я ухожу! — без всяких церемоний, прямолинейно и не то чтобы слишком резко, но с какой-то пружинной скрытной, ржаво скрипнувшей, в интонации, с идиотским, дурным нажимом на последнем слоге несносного слова этого, «ухожу», о приличиях не заботясь, одержимый уже другим, новоявленным, свежим желанием, и по этой причине свалить поскорее отсюда намеренный, вот и все, заявил Губанов.

— Как? — изумился губановскому заявлению Эренбург. — Уже? Но мы ведь еще толком даже не познакомились, не успели поговорить. Почему же вы, так вот, сразу, едва мы с вами увиделись у меня, куда-то уходите?

— Надо! — сказал Губанов.

— Может, серьезное что-нибудь случилось у вас? — участливо спросил его Эренбург.

— Евтушенко ждет меня, — вкратце, на ходу, пояснил Губанов. — У него сегодня концерт. Шостакович хорошую музыку на его стихи написал. Он меня пригласил, заранее. Надо прийти. Опаздываю!

— Ну что же! — сказал Эренбург философски. — Надо так надо. Простите, как ваша фамилия?

— Губанов, — сказал ему Леня, — я Леонид Губанов.

— Ах, Губанов! — слегка покивал головой седой Эренбург. — Да-да. Конечно. Тот самый. Ну как же, мне говорили!

— Еще увидимся! — тоже кивнул головой, да так, что челка его взлетела, как будто бы от порыва январского ветра, Леня.

— Очень даже возможно, спешащий на концерт молодой человек, что еще мы увидимся с вами, — сказал Эренбург, с интересом глядя на Леню Губанова.

— Не сомневайтесь! — твердо заверил его Губанов, уже надевая старенькое, негреющее пальто и быстрым движением школьника, убегающего с уроков, нахлобучивая на голову старую шапку с опущенными ушами. — А скоро еще и услышите обо мне! — задиристо, с вызовом, добавил для верности он.

— Уже слышал, — сказал Эренбург. — И еще, наверно, услышу. Знаете ли, Москва ведь город такой: если что-нибудь новое, интересное, свежее появляется, то сразу же все об этом явлении узнают.

- Ладно, — сказал Губанов, одевшись. — Пора мне идти.
 - Передавайте привет Евтушенко! — сказал Эренбург.
 - Передам! — заверил Губанов. — Ну, бывайте, ребята! — по-свойски обратился он, пожимая впопыхах наши руки, к нам с Мишиным. А потом, весь — порыв, к Эренбургу: — До свидания! Убегаю. Рад был встрече, Илья Григорьевич!
 - До свидания, молодой гениальный поэт! — сказал ему, покивав, Эренбург.
- Хлопнула дверь — и Губанов тут же за ней исчез.

Эренбург обратился к нам с Колей:

— Ну, молодые люди, пойдемте! Поговорим.

Он привел нас в свой кабинет.

В эренбургском кабинете было все, что должно было быть в кабинете маститого, старого, заслуженного писателя, да еще не совсем простого, а такого вот, с необычными биографией и судьбой.

Были рукописи, картины, было множество разных книг, всевозможных предметов масса, крупных, мелких, чье назначение было нам не понятно вовсе или полупонятно, так, серединка на половинку, — вроде трубок, шкатулок, всяких интересных с виду вещей, экзотических, декоративных, странных, милых или загадочных, создающих особую, творческую атмосферу, давно прижившихся здесь, на малом, тесном пространстве небольшой, не такой уж высокой, до предела заполненной комнаты, как в отдельной, свободной державе, независимой от всего, что мешает жить по своим, никому не подвластным законам, и хозяевам этой квартиры, и вещам, существующим в ней, авторучке, машинке ли пишущей, книгам, письмам, журналам, рисункам окантованным на стене, полкам, стульям, столу, на котором возвышались груды бумаг, даже воздуху, с характерным в нем присутствием дыма табачного, всем, всему, навсегда, навеки, потому что именно так здесь, в жилье человечьем, отдельном, во владении этом удельном, было некогда заведено, потому и предмет здесь любой со своей отдельной судьбой и своей необычной историей, потому-то и много всего здесь, что так и никак иначе, говоря по-простому, надо, — но зато хорошо понятно пригласившему нас в свое обиталище, в мир свой, личный, сокровенный, седому мастеру.

Мы с Мишиным в мире этом — оставались самими собою.

Вначале мы с ним, по очереди, познакомились с Эренбургом.

— Владимир Алейников! — скромно представился я писателю.

— Слышал, слышал, — сказал Эренбург. — Мне о вас говорили. Вы ведь с Украины сами, не так ли?

— Да, с Украины, — сказал я, уточнив: — из Кривого Рога.

— Учитесь здесь, в Москве? — спросил меня Эренбург.

— Да, учусь. В МГУ.

— На каком факультете?

— Есть на истфаке отделение искусствоведческое.

— Как же, знаю.

— Там и учусь.

— Сколько вам лет, Володя? — почему-то спросил Эренбург.

— Восемнадцать, — ответил я. — Скоро уже, в январе, двадцать восьмого числа, исполнится девятнадцать.

— А мне в январе, уже скоро, двадцать седьмого числа, должно исполниться семьдесят четыре года, представьте, — с грустной ноткой сказал Эренбург. Помолчал и потом продолжил: — Вы такой еще молодой — и уже известны в Москве. Дай-то бог, чтобы все сложилось у вас удачно в дальнейшем. Если помнить, где мы живем.

Я не знал, что на это сказать.

Эренбург повернулся к Мишину:

— А вы, молодой человек? Вы кто, скажите-ка, будете?

— Мишин я. Николай Лукьянович, — степенно ответил Коля. — Друг Володин. И Ленин друг. Пишу стихи. А учусь я в МГУ, на искусствоведении, вместе с Володей. И знаете, Илья Григорьевич, вот что хочу я вам сразу сказать, потому что чувствую сердцем, что уж вы-то меня поймете, — тут Коля очень серьезно, выразительно посмотрел на опешившего Эренбурга и с нажимом, с должным значением, чеканя каждое слово, торжественно произнес взлетевшую фейерверком над нашими головами, волшебным светом искусства озаренную фразу: — Думаю вскоре заняться театром!

— Интересно! — сказал Эренбург. — И кем же вы намереваетесь быть? Режиссером, наверное? Или же драматургом?

— И тем и другим! — уверенно, спокойно, невозмутимо ответил писателю Мишин. — У меня получится. Справлюсь.

— Так, так, — сказал Эренбург. — Пусть и так. Занимайтесь театром.

Эренбург сидел перед нами за заваленным папками с какими-то пухлыми рукописями, кипами всяких бумаг, письмами, книгами, письменным, рабочим, что было видно с первого взгляда, сразу же, по-цветаевски верным, столом.

На столе стояла коробка из-под сигар кубинских, выше краев наполненная болгарскими сигаретами без фильтра: «Шипкой», наверное, «Джебелом» или «Солнцем», точно сейчас не помню, но какими-нибудь из этих сигарет или всеми тремя, вперемешку, они у нас везде тогда продавались.

Разговаривая неспешно с нами, гостями случайными, Эренбург непрерывно курил.

Одну за другой, одну за другой, сигареты он брал из коробки.

Едва загасив одну, закуривал тут же другую.

Сигаретный дым поднимался над ним белесыми струйками, превращался потом в облака, висел сплошной пеленой.

Дым чалмою прозрачной окутывал его седую, светящуюся фосфорически-бледно, загадочно, стариковскую узкую голову.

Дым обвивал спиралями его подвижные, легкие, непрерывно жестикулирующие, артистически-чуткие руки.

Дым тянулся из кабинета в коридор, проникал в другие комнаты, плотными космами висел в тесноватой прихожей.

Дым обматывал, словно бинтами, его грудь волокнами сизыми.

Дым хмарью слоистой, зыбкой лежал на его плечах.

Дым шатающимися столбами вставал перед ним на столе.

Эренбург сидел перед нами, весь в дыму, весь окутанный дымом, как седой вулкан, и курил.

Говорил и все время курил.

Курили и мы с Колей Мишиным.

Столько дыма я сроду не видел.

Прямо смог получался какой-то, натуральный вполне, да и только!

Смог? А что! Да, может, и смог.

Эренбург нас вначале расспрашивал, понемножку, о том да о сем.

А потом, незаметно как-то, для него-то, наверно, естественно и привычно давно уже, начал говорить, говорить — сам.

Да так почему-то увлекся, что мы его только слушали, мы внимали ему, так скажем, и не думая человека, говорящего непрерывно, интересно, складно, толково, иногда и парадоксально, даже в мыслях перебивать.

Это был — монолог. Длиннющий. Вроде гибкой, тугой спирали, он раскручивался в пространстве и во времени. В нем светилось звездной россыпью все, что вряд ли уместилось бы в сочетании трех понятий, простых и сложных, на века: люди, годы, жизнь.

Может быть, Эренбургу даже хотелось выговориться.

Был он к нам расположен по-доброму, я это чувствовал.

Ну а может быть, как теперешние, искушенные в разных тонкостях человеческих отношений и мистической подоплеки в них, на каждом шагу, буквально, в каждом жесте и в каждом слове, в каждой мысли порой, знатоки, эрудиты, ребята подкованные, образованные, смышленные, напускающие тумана там, где надо и где не следует, вперемешку, авось, мол, сойдет, разберутся потом, считают, Эренбург, таким вот манером, говоря непрерывно, внимание на себе концентрируя наше, пусть даже непроизвольно, пусть даже, в своем порыве, ничего не зная об этом, энергию нашу тянул.

Знатокам — палец в рот не клади.

Так считают они — и все тут.

Хочешь — верь, а хочешь — не верь.

Что гадать об этом теперь?

Получался этакий странный, ненарошный, необходимый, интересный, интеллигентный, эренбургский вампиризм.

Так или нет, но все-таки придется прямо сказать, что некоторую усталость вскоре я ощутил.

Откуда ей было взяться?

Усталость была — не физической.

Иного какого-то рода.

Трудно мне ее выразить.

Помню — мозг уставал.

Возможно, старый писатель подпитывался бессознательно энергией нашей, обильной, избыточной, молодой.

Энергия эта, свежая, кипучая, беззащитная, ему, человеку старому, очень была нужна.

«Люди, годы, жизнь», сочинение многотомное, продолжения которого ждали читатели, дописывать надо было.

Да мало ли что еще надо было успеть сделать!

Энергия всем на свете, кого ни возьми, нужна.

И нужна особенно — в старости.

И Эренбург все вел свой монолог — и нависал над нами сизый смог.

Эренбург тогда, в январе, вроде близком совсем, недавнем и таком далеком, что вряд ли до него дотянусь теперь, точно так же, как и до снега, в эти дни в столице идущего, и до света лампы настольной в кабинете, насквозь прокуренным (да чего там, не дотянуться до руки товарища старого — умер Коля Мишин, Лукьяныч, в снег ушел человек-театр, в свет ушел запредельный, дальний, бесконечный, герой легенд и преданий, и только память воскрешает его, и снова улыбается он — сквозь снег, говорит со мною — сквозь свет, свет, астральный ли, театральный ли, свет, и все тут, сквозь бездну лет), — Эренбург тогда, в январе, снежном, дальнем, на самой заре многотрудного времени СМОГа, будто нас провожая в дорогу и напутствуя нас, по-хо-

рошему, но предвидя то впереди, чего мы еще, пока что, конечно, не представляли, в силу возраста своего, в правоте его убедившись лишь потом, говорил интересно.

Где-то в бумагах моих, чудом, возможно, среди прежних бездомниц, в семидесятих безумных годах уцелевших, вроде бы, да, наверное, должна быть довольно большая, давняя запись об этом.

Но где и когда мне искать ее?

Сохранилась ли? Я не знаю.

И вовсе ведь не в подробностях писательского монолога нынче дело, со мной согласитесь, призываю вас, ибо прав я, а в ином, совершенно ином.

Так я думаю. Так считаю.

В некоторой обособленности, очевидной несоединимости слишком разных во всем поколений, быть может. В отсутствии связи, прочной, неразрушимой. Потому что судьба России такова. В ней нарушена связь. Меж людьми. Но еще — меж мирами. Теми, созданными когда-то предыдущими поколениями, — и мирами, которые мы создавали, в другое время.

Эренбург ведь нас, говоря увлеченно, почти не слышал.

Он слышал — только себя.

Допускаю вполне, что в таком вот выговаривании спонтанном был, чего там скрывать, элемент, нет, уж лучше сказать мне — свет человеческой исповедальности, пусть и скромный совсем, не сразу осязаемый. Но ведь был он. Был — и все тут. Поди возрази!

С чего бы, скажут, предвижу, некоторые из нынешних умников междувременья, писателю исповедоваться вдруг, ни с того ни с сего, перед вовсе ему не знакомыми, в первый раз его увидавшими, да и то случайно, — а может быть, по судьбе, — молодыми людьми?

Значит, надо было ему так тогда поступить.

Речь — сама ведет человека.

И в данном случае, то есть в эренбургском частном случае, привела его прямо к нам.

Нет, вывела его к нам — из клубов сигаретного дыма.

И мы его, откровенного с нами, — внимательно слушали.

И хорошо, лучше многих, зная, как это важно — вовремя быть услышанным, Эренбург, вдохновенный, седой, все, что считал, наверное, нужным, все, что хотел высказать, обозначить хотя бы штрихом, пунктиром, наскоро соединить разрозненные куски мыслей, взглядов, прозрений, на живую нитку, потом сами небось разберутся во всем, говорил — нам.

Не с нами, а именно — нам.

Адресуясь конкретно к нам, узанным им, прозорливцем, пусть и совсем недавно, сегодня, по именам.

И в нашем лице — обращаясь ко всем остальным, для него новым, пока незнакомым людям, еще молодым.

Он рассказывал нам о своей бурной и сложной жизни. Бурной — совсем не случайно. Хорошо, что была такой вот, событиями переполненной, встречами и трудами. Тихой быть она не могла. И спокойной. Была — стремительной. Ну а сложной была не даром. В этих сложностях закалялся дух. Таков уж наш сложный век, чтобы к свету шел человек.

О поездках своих зарубежных. Было в досталь их. Просто не счесть.

О далеких странах, неведомых нам. Они ведь на свете — есть.

О людях, ему интересных, жителях заграничных, за железным заржавленным занавесом находящихся, государств, и согражданах наших, людях необычных, весьма

колоритных, с достоинствами несомненными, со странностями простительными, со сложными биографиями и судьбами фантастическими, словом, людях неповторимых, не каких-нибудь там европейских, защищенных своей свободой и законами непреложными, а вполне узнаваемых, тут же понимаемых нами, сразу же, без ненужных всем оговорок, принимаемых нами такими, каковыми они являются, здесь, в действительности, по Розанову, если вспомнить, самом существенном на безумной нашей земле, где нисходит с высот небесных несравненная благодать на родную, грустную почву, чтобы дух устремлялся ввысь, чтобы звезды над миром зажглись, людях разных, простых и сложных, закаленных в бедах, отечественных.

О своих теперешних, творческих и житейских, конечно, планах.

Успеть бы, покуда жив, покуда идет работа на подъеме, все разрастаясь, продолжаясь день ото дня, покуда хватает огня в крови, дописать мемуары!

В журнале опять задерживают публикацию очередных, весьма существенных глав. Требуют исправлений. Делают изуверские, иначе не скажешь, купюры.

Досадно, право. И грустно.

Сколько нервов, сколько здоровья на это приходится тратить!

А время идет и идет.

И сколько его осталось?

Да, ему сейчас интересна современная молодежь. И особенно молодежь одаренная, пылкая, творческая.

Это уже совсем, он понял, другие люди, нежели Евтушенко с Вознесенским и все остальные известные шестидесятники.

Новое поколение. Новое. Небывалое.

Каково придется ему — в советской, пусть и существенной, но слишком жестокой действительности?

Да и в мире, на всей планете, если честно, давно неладно.

Искусство, несущее свет, исцеляющее, великое, угасает, не возражайте, повсеместно, да, это так.

На смену искусству приходит своеобразный спорт.

Скоро все превратится в спорт.

Искусство подменяют спортом.

Вообще, в скором будущем, здесь, на планете нашей, летящей неизвестно куда в космическом, ледяном, бесконечном пространстве, очень многое, с положительным знаком, хорошее, светлое — очень многим, весьма паршивым, с отрицательным знаком, подменят.

Имитировать будут ловко литературу, живопись, музыку, архитектуру.

С ног на голову наловчатся переворачивать старые, необходимые людям, жизненно важные истины.

Выдавать навострятя черное, негативное сплошь, за белое.

Будут, в злобе необъяснимой, посягать на русскую речь, на живое, родное слово.

Будут всячески засорять, цинично, преступно уродовать, даже изничтожать самое главное — речь.

Вряд ли это у них, маячащих где-то там, впереди, в дыму городском, в наслоениях смога, смутно брезжущих в зыбком тумане меж землю и небом родным, зарождающихся за гранью века нашего непростого, находящихся в состоянии то ли сна, то ли кайфа странного, то ли странного, долгого транса, незаметных пока что, незримых для народов, но все-таки явных, оголтелых, неистовых будущих разрушителей нашей культуры и страны безграничной, получится.

Но вред они, разрушители, коим имя и впрямь легион будет вскоре, лет через сорок, нанесут всему настоящему, все подмяв под себя, — огромный.

Появится псевдокультура.
 Такая вот лживая дура.
 Закрутит свои шуры-муры.
 Де-факто. Или де-юре.
 Пустится в перепляс.
 Запоет. Заблажит. Для масс.
 Примитивная до безобразия.
 Взвоют Европа и Азия.
 Начнется сплошная истерика.
 Ухмыльнется криво Америка.
 План Даллеса помните? Нет?
 Вспомните. Вот вам — ответ.
 На все абсолютно. Так-то.
 Не домыслы это. Факты.

Будут превозносить всяких мерзавцев и пакостников, и они возомнят о себе, что они-то и есть отныне самые что ни на есть выдающиеся, значительные люди, звезды в искусстве.

О таких несомненных подвижниках, как затворник и труженик Фальк, псевдодеятели грядущей планетарной псевдокультуры, с общим вывихом и в мозгах и в проданных темным силам трусоватых, паскудных душонках, не крылатых уже, почти не станут, в своей свистопляске на костях отшумевшей эпохи пребывая, словно в болоте мириады бацилл, вспоминать, а если и вспомнят невольно, случайно, так, иногда, то с этакой едкой усмешкой: вот, мол, вкалывал этот парень или этот старик всю жизнь, надрывался, бедняга, трудился, и чего же в итоге добился, неизвестно, не очень-то многого, доброй памяти, доброго имени, доброй славы, посмертной, всего-то, — а успеха можно достичь между тем достаточно быстро и еще, между прочим, кстати, не прикладывая особых, надрывающих жилы сил.

Что уж тогда говорить о Филонове, уникальном человеке, крупнейшем художнике, с поражающим решительно всех сверхупрямым его аскетизмом!

Что уж там, о-хо-хо, говорить о Малевиче славном, с его собственным жизненным подвигом и новаторским, смелым искусством, умершем еще не старым в своей подмосковной Немчиновке в чудовищной нищете!

А Татлин, с его поистине горькой, жестокой судьбой! Такой фантастически прямо талантливый человек, и жил ведь в долгом забвении. А сколько мог бы сделать!

А Фонвизин, тихий волшебник, великий акварелист, чудом, наверное, выживший?

А Тышлер, из ныне живущих?

Да мало ли кто еще!

На Западе все и проще, и сложнее. Уж так получилось.

Там давно уже, то потихоньку, то решительно, резко, с нажимом, сознательно, специально, разработанная дотошно заранее, под контролем кровно заинтересованных в этом властей, внедряется, поколение за поколением обволакивая, зомбируя, массовая культура.

Так, заметим себе, называемая, срежиссированная культура.

То есть сплошное, грубое, махровое бескультурие.

Читают и все это знают, примирившись с этим давно, там поразительно мало.

Русскую, не сравнимую ни с одной из прочих, культуру великую вовсе не знают.

У нас-то в стране, слава богу, хоть книжечее полно.

Хоть, преграды минув вечные, тянутся люди к знаниям.

А Запад, с его свободой, — ну разве это свобода?

Если у нас в стране попробуют, ну, допустим, на закате нашего века или еще когда-нибудь сделать что-то подобное — это будет не просто кошмар, это будет уже катастрофа.

Нет, Россия — страна совершенно, так уж здесь повелось, особенная.

Ей надо, конечно, меняться.

Но идти ей следует впредь только своим путем.

Так уж она устроена.

Он повидал весь мир.

И хорошо, нет, прекрасно, знает, что говорит.

Вот приходит к нему иногда Слуцкий, поэт серьезный, толком еще не изданный, рассказывает о том, что происходит в писательских, злопыхательских, мрачных кругах.

Коржавин, тоже поэт хороший, как ни крути, на огонек заходит.

Оба они, такие разные и такие слово свое сказавшие смело, надолго, поэты, вроде и там, в Союзе неисчислимых писателей, а на самом-то деле оба — совершенно другие люди.

И что, в таких-то условиях, с ними обоими будет?

Евтушенко — тот половчее, умеет извлечь для себя в любой ситуации выгоду, пристроиться поудобнее всегда и повсюду с пользой для себя, горячо любимого, для себя, для себя, и только, будь то для него интересная заграничная, с помпой всегдашней, с выступлениями для публики, с публикациями, поездка, будь то издание новой, для него-то очередной, поскольку и так их много, с перебором, признаться, книги. К нему и правительство наше давно, как известно, привыкло, не говоря уж о наших многочисленных верных читателях.

А более молодые — что их в грядущем ждет?

Издаваться на родине — сложно.

А то и, чего там скрывать, невозможно просто, для некоторых.

Долгими десятилетиями ходить в самиздатовских авторах, если не хочешь идти на уступки, не хочешь упрямо приспособливаться, ловчить?

Может быть и такое.

Может быть. И — бывает.

Примеров таких предостаточно.

Люди, такие талантливые, — вовсе не издаются.

Но самое возмутительное, самое нынче ужасное — что мир, отравленный напрочь деформированной информацией, отвратительными новациями, ведущими к упрощенчеству везде и во всем, к деградации всеобщей, к духовному спаду, к стадности, к раболепию перед модой, кем-то навязанной с определенной целью, дабы разрушить сознание, растлить молодежь, изувечить людские ранимые души, утрачивает культуру.

Как ее всем спасти?

Кто ее все же спасет?

Возможно, вполне возможно, вот такие, сейчас молодые, талантливые, образованные, серьезные, умные люди сумеют потом, когда-то, решительно, твердо, упрямо, как на войнах бывает, в битвах суровых, объединившись однажды, противостоять грядущему страшному злу.

Возможно, они найдут в себе для этого силы.

Надо противостоять всяческим разрушителям.

Надо готовить себя к тому, чтобы жить достойно, хранить в себе свет откровений, верить в добро, созидать.

Культура на всей планете все-таки уцелеет, если ее спасут настоящие созидатели.

Трудно, да, очень трудно в нынешнем мире выжить и остаться в итоге хорошим, без изъянов любых, человеком.

Но жить в мире нашем, каков бы он ни был, — конечно же, надо.

И долг наш — сберечь в нем свет.

Вот, вкратце, какие темы затронуты были в его пространным, спонтанном, искреннем, обращенном к нам не случайно, понимаю теперь, через годы, пролетевшие с давних времен, в памяти сохранившемся с тех пор навсегда монологе.

Эренбург, увлекшись невольно размышлениями своими, незаметно проговорил не менее двух часов.

И за это время он выкурил бесчисленное, словно знак бесконечности, дымом написанный на фоне книг и картин, стен и бумаг, число своих сигарет без фильтра.

Вначале вроде бы все же, само собою, как водится при встрече с мэтром, решившим принять нас, подразумевалось, что мы, молодые поэты, почитаем ему стихи.

Но вскоре, проникшись своим вдохновеннейшим, с явными отзвуками древних библейских пророчеств, откровенным, нет, сокровенным, так-то лучше сказать, монологом, он позабыл об этом.

И очень даже, замечу, хорошо, что так получилось, решил я, слушая речь его клокочущую, про себя.

Лучше с пользой, беспорной для себя, послушать внимательно старого, умного, тертого, талантливое человека.

А стихи читать по традиции — с этим всегда успеется.

Да и не в каждом доме, во всякой, тем более в этой, непривычной для нас, обстановке, следует их читать.

Эренбург устал говорить и сделал, пыхтя сигаретой новой, окутавшись дымом или смогом сплошным, передышку.

В это время в прихожей раздался лихорадочный, громкий звонок.

Ну конечно же, это был появившийся здесь Кублановский.

Он — опоздал, как всегда.

Он пришел сюда не через два часа, как условился с Мишиным, а позже, значительно позже.

Слышно было нам, как в дверях говорит он даме, которая разговоры с нами вела, прежде чем пригласила войти в эренбурговскую квартиру.

— Здравствуйте! Я молодой поэт. Позвольте представиться. Кублановский моя фамилия. Там, у Ильи Григорьевича, сейчас, я знаю, находятся друзья мои. Понимаете, они приехали раньше к нему, а я вот попозже, так у меня получилось, что поде-лаешь. Можно войти?

Был он пущен дамой в квартиру.

Снял в прихожей пальто, потоптался.

Потом потихоньку, бочком, пришаркивая ногами, аккуратно этак, по-школьному, поджавшись, как мальчик примерный, вечный отличник, с улыбочкой двинулся в кабинет.

— Здравствуйте, дорогой, любезный Илья Григорьевич! — поприветствовал он Эренбурга. — Вы меня помните? Да? Мы знакомы с вами. Я Юра. Кублановский моя фамилия.

— Здравствуйте! — меланхолично сказал уже основательно уставший, окутанный дымом сигаретным, бледный, седой, как полынь в степи, Эренбург. — Входите, коли пришли. Но знаете ли, молодой человек, откровенно скажу, вас я не припоминаю.

— Ну как же! — с пафосом, глядя мимо нас с Колей Мишиным, то есть друзей своих, обращаясь только к дымящему быстро тающей сигаретой усталому Эренбургу и пре-

данно, по-кошачьи, по привычке, моргая глазами, воскликнул смутившийся Куб. — Я молодой поэт. Помните, я из Рыбинска к вам приезжал, когда я еще в школе учился? Я тогда специально приехал, чтобы вас поддержать, по возможности, в дни гонений серьезных на вас. Чтобы выразить лично вам солидарность людскую с вами. И чтобы вы, наш любимый писатель, учитель, знали, что рыбинская настоящая, дружная интеллигенция за вас, правдолюбца, горой! Я тогда вам стихи свои юношеские читал. И вы мне даже, напоминая сознательно, справку выдали. О том, что я, вы считаете так, человек талантливый.

— Какая еще там справка? — изумился, дымя сигаретой догорающей, Эренбург. — Вроде припоминаю, точно, тогда действительно приезжал ко мне мальчик из Рыбинска. Значит, это, ну да, понятно, все понятно мне, были вы? И теперь вы, конечно, выросли?

— В Москве я теперь. Учусь, как мечтал я, в университете, на искусствоведа, в одной группе с Володей и Колей, — показал оттопыренным пальцем на меня и на Мишина Куб.

— Но при чем тут, простите, справка? Что это, право, за справка? — спросил его Эренбург. — Разве здесь у меня какая-то канцелярия?

— Вы, дорогой Илья Григорьевич, лично, выдали в свое время, когда навестил я в дни гонений на вас, мне справку, — патетично сказал Кублановский. — В то тяжелое время и наша провинциальная, рыбинская творческая в основном, сплоченная интеллигенция подвергалась, как я вам рассказывал, непрерывным, жутким преследованиям. И даже меня, тогда еще обычного школьника, тоже это коснулось. И даже я пострадал. Хрущевские, с безобразиями натуральнейшими, дела. Мрак и бред. Борьба с формализмом! — пояснил он всем нам и продолжил: — И когда я, еще мальчишка, специально к вам приезжал, чтобы вас поддержать, я многим рисковал. И я попросил вас тут же выдать мне справку о том, что я, ну, вы понимаете, для кого и зачем, талантливый. На всякий пожарный случай. Внимательно прочитав то, что написано в справке, и увидев личную вашу подпись, мои гонители, ежели бы, представьте, это произошло, из уважения к вам, оставили бы меня в покое, дали бы мне возможность окончить школу и заниматься свободным, а к нему-то и призван я, творчеством. То есть писать стихи. И вы, дорогой Илья Григорьевич, — тут голос Куба зазвенел, разросся, усилился, запел золотой трубой, — вы вошли в мое положение — и выдали по доброте своей мне эту нужную справку. С тех пор я всюду ношу ее с собой. Так спокойнее. Храню ее бережно, свято. И сейчас она здесь, со мной! — и Куб весьма выразительно похлопал себя по груди.

Эренбург поначалу не знал, что и сказать. Он, я видел, просто оторопел в ходе Юриной речи.

Потом он все же сказал:

— Ну, молодой человек, покажите-ка мне эту справку!

Юра с готовностью, крупными буквами, с маху начертанными на лбу его, тут же полез во внутренний, ближе к сердцу, видать, от врагов подальше, карман пиджака, извлек оттуда, помедлив для приличия, для порядка, аккуратно, любовно сложенную, на сгибах слегка потертую беленькую бумажку и с почтением, как реликвию, протянул ее Эренбургу.

Писатель взял эту бумажку и начал ее изучать.

Юра стоял, затаив дыхание. Осознавал, видно, что это был исторический, не иначе, для биографов, там, в грядущем, несомненно, без дураков, приступить захотящим к дотошному изучению жизни поэта, характерный, важный момент.

Мы с Мишиным с интересом ждали, что будет дальше.

Эренбург прочитал бумажку.

Внимательно. Медленно. Будто бы читал ее — по складам.

Потом — как-то вкривь улыбнулся.

Потом — сложил ее вчетверо.

И — протянул Кублановскому.

Тот бережно принял ее из рук в руки и столь же бережно спрятал, как прячут заветный талисман, у себя на груди.

— Да, — сказал Эренбург и кашлянул. — Писал действительно я. Моя, безусловно, подпись, мои, выходит, слова. Немного меня удивляет, признаться, и озадачивает, как это мог я, старый человек, на такое пойти. Заверять каких-то неведомых провинциальных гонителей, что податель сего — талантливый? Странновато, право. Наверное, был усталым. Тогда мне крепко доставалось. Как там в народе говорят очень верно? По первое число. Вот именно так. Однако спасибо вам, юноша, еще раз, по-человечески, за вашу поддержку тогдашнюю и солидарность со мной. Справку эту храните, если вы так решили. Не возражаю. И пишите свои стихи. Если я лично вам написал, что вы человек талантливый.

— Большое спасибо за все вам, Илья Григорьевич! — с чувством произнес Кублановский. И даже, порываясь кланяться в пояс поначалу, смутился вовремя, спохватился, перехватив изумленные наши взгляды, но, уже удержаться не в силах от готовности тут же выразить Эренбургу свое почтение вместе с пламенной благодарностью, поклонился все же слегка.

И тут-то в игру опять вступил человек-театр, фантастический Коля Мишин.

— Юра! — сказал он Кубу, предварительно подмигнув и мне, и, чего там, все ведь заодно, и скрывать здесь нечего, Эренбургу, и тот вдруг понял, что надо ведь и ему подыграть нам, и тоже, с легким огоньком во взгляде, лукаво, незаметно, повеселев, подмигнул нам так, чтобы Куб ничего, понятно, не видел. — Слышишь, Юра? Как хорошо, что ты наконец пришел, — сказал, с лицом режиссера на репетиции нового спектакля в театре, Мишин. — Мы все, понимаешь, все уже читали стихи. Свое сполна отчитали. И Губанов, конечно, читал. И даже ушел уже, попрощался, дела у него. Ты опоздал. Но теперь твоя настала пора. Человек тебя хочет послушать, — сделал он жест широкий в сторону Эренбурга, — и мы с Володей непрочь тебя, товарища нашего, еще разок услышать. Давай-ка, парень, работай. Читай стихи. Твоя очередь!

— Так вы что, серьезно, уже все читали? — спросил нас Куб.

— Говорят тебе ясно, читали! — пояснил ему Коля Мишин. — Теперь ты должен читать.

— Ладно! — сказал Кублановский, — понятненько. Я готов.

Эренбург с любопытством, нисколько не прикрытым, окутанный дымом сигаретным, седой, похожий на источник зыбкого света в стороне, наблюдал за ним.

Куб осторожно вышел на самую середину эренбургского кабинета, от пола до потолка густо и плотно завешенного сизым табачным дымом.

Он стоял в этом сизом дыму, носом подвижным вперед, с упавшим на лоб косым клином темных волос, несколько театрално, напоминая Пьеро, с бледноватым, длинным, даже узким тогда лицом, с синими и лиловыми припухлостями под глазами, стоял, безусловно, волнуясь.

Да как же не волноваться?

Ведь сейчас ему, Кублановскому, придется читать свои нынешние стихи прославленному во всех странах, почтенному мэтру!

Это ведь, между прочим, так, для заметки, на память, уже не былые, школьные, наивные сочинения, они-то давным-давно где-то в рыбинском прошлом!

Сейчас он пишет уже совсем по-другому, и это, знает он сам, серьезно.

Куб откашлялся. Встал столбом посреди кабинета. И начал надтреснутым голосом, то петуха пуская, то уходя в басы глухие, читать стихи.

— Есть город Токио, а есть — Одиноко... — этак задумчиво, глядя на Эренбурга, на книги, на картины, потом на Мишина, и потом уже на меня, и куда-то за стены, с грустинкой, читал он, читал с выражением, расстаравшись, читал, проникаясь невольным настроением ранних стихов своих, симпатичных, живых, грациозных, чуть наивных, слегка бестолковых, но хороших все-таки, милых, обаятельных, им позабытых почему-то, в зрелые годы, позабытых совсем, и напрасно, потому что в них-то и был весь, как есть он, товарищ наш Куб.

И вдохновился, ожил будущий бравый смогист, будущий диссидент, будущий эмигрант, будущий патриот, нынешний скромный студент московский, поэт молодой, всем нам известный Кубик.

И постепенно увлекся.

При словах «в этом мире зимою холодно, так сказал мне один еврей» он сознательно, выразительно, прямо взглянул на Эренбурга, а тот, с удивлением явным по поводу такой вот сакраментальной мудрости и доморощенной, грустной философичности, тоже взглянул на него.

— Я в пальцах сумерки держал и утро... — с подъемом читал Кублановский.

Эренбург рассеянно слушал.

И мы с Колей Мишиным слушали.

— И в пальцах ножницы держал, и губы окроплял водою, а рядом внучек пробегал, тряся головкою седою... — задушевно читал Кублановский.

Плыли клубы табачного дыма.

— В этой комнате рыжи на стенах пятна, — читал вдохновенно Куб, — очень долго черный кофе не несут, и очень долго в темноте белеют пальцы, и зелененькие девочки поют...

Эренбург все курил и слушал.

— Я гадаю вам, гарантирую: жить придется, как ни крути, чем, чье тело со скарлатиною без замужества и любви... — читал молодой поэт со справкой от Эренбурга в пиджаке, в нагрудном кармане.

Дыма было слишком уж много.

Дышать становилось нам в эренбургском кабинете с каждой долгой, как день, минутой пребывания нашего здесь, понимали мы, все труднее.

— Мне до станции Люблино. Пальцы выпачканы, как мелом... — увлеченно читал Кублановский.

Наконец до него дошло, что читает он, потеряв чувство меры напрочь, он понял, что пора ему закругляться.

К концу его долгого чтения заполнивший кабинет дым-смог, сизовато-белесый, достиг такой густоты, что все мы одновременно почувствовали: он просто мешает, густой, застоявшийся, спокойно существовать.

Какие-то, для отговорки, вежливые слова, может, и говорились хозяином в адрес Куба, но уже достаточно вымученные, тихие, незначительные.

Куда важнее была насущная — смог ведь в квартире! спасайся, кто может! — проблема.

С дымом, стоявшим сплошной пеленою туманной, следовало тут же, срочно, бороться.

Захлопали открываемые настежь легкие форточки.

А за ними гулко захлопали, одна за другою, и двери.

Дым, вначале неторопливо, помаленьку, нехотя, медленно, а потом все скорее, скорее, потянулся из теплой квартиры на холодную зимнюю улицу, на мороз, в снега, и в подъезд.

Эренбург явно был утомлен.

Седина его вдруг обозначилась белым факелом редких волос над лицом, совершенно бледным, нет, скорее прозрачным, и нос обострился, и губы стали тоньше, резче легли морщины на широком, покато́м челе, и только глаза жили странной жизнью своей, совсем отдельной, от слов, от жестов, от зимы, от бумаг, от дыма, от всего, что было вокруг, и от бурь, и от благ, и от нас, жили внутренней жизнью, таинственной, неизвестной, непостижимой, жизнью духа, скорее всего, жизнью совести, жизнью печали, как на реках, тех, вавилонских, как в Париже, и здесь, в Москве, и везде, где бы ни был он, жили мыслью, вестью, честью, судьбой.

Да тут еще и такая вот абсурдная, целиком из советской безумной действительности, история, это надо же, со справкой, им сочиненной, незнамо зачем и когда, что за чушь, что за бред, о талантливости для когда-то к нему пришедшего, молодого совсем, из Рыбинска, вы подумайте только, поэта.

Надо было нам уходить.

Мы поднялись и тепло попрощались с Эренбургом и с проводившей с нами краткие переговоры у двери входной в квартиру миловидной, любезной дамой.

Пообещали еще как-нибудь навестить писателя.

Но теперь уже — с заверениями, что сваливаться как снег на голову не будем, а поступим вовсе не так, то есть вначале заранее договоримся о встрече и только потом — приедем.

По лестнице, друг за другом, быстро сбежали мы вниз.

Вышли втроем из подъезда, просторного и прохладного, с тускловатым светом, во двор.

Оказались вскоре на улице.

Хорошо было здесь дышать свежим морозным воздухом.

Никакого тебе застоявшегося в кабинете и в легких дыма!

Конечно, идти по улице Горького вниз, к метро, посреди городского гула, в самом центре огромной столицы, меж огней и людей, по снегу, под ногами хрустящему звонко, по широкому тротуару, где следы наши сразу сплетались со следами прохожих бесчисленных, — это вам не в лесу гулять.

Это — город. Москва. Но все-таки.

Чистый воздух нашим прокуренным, хоть еще и выносливым легким, знали все мы, куда как нужен!

— Вот видите, — твердо сказал Мишин, — я же, ну вспомните, говорил, говорил вам заранее, что все будет в полном порядке. Теперь вот и у Эренбурга наконец-то мы побывали. Нормальный старик. Немало полезного для себя я от него узнал. Приеду домой — записать надо бы. Для истории.

— Справка нам помогла! — убежденно сказал Кублановский. — Если бы не моя справка, ну согласитесь, то еще неизвестно, что было бы. Память у Эренбурга — будь здоров. Сразу все он вспомнил. Приятно было ему говорить с нами, ежику ясно. И стихи мои очень ему понравились. Поняли? Видели?

— Конечно, видели, Юра! — сказал я. — Когда ты читал «в этом мире зимою холодно...», Эренбург слегка прослезился.

— Ну да! — встрепенулся Куб. — Ты что? Это правда? Seriously?

— А как же еще? — немедленно подыграл мне лукавый Мишин. — Мы втроем читали, читали, — и старик только молча вздыхал и глядел на нас, да и все. А когда ты читал — прослезился.

— Я польщен! — просиял Кублановский.

— Ты вот что, Юра, — по-дружески взял его вдруг за локоть посерьезневший Коля Мишин и придвинулся сразу поближе к его замерзшему уху, — ты справку эту, поверь мне, береги. Не теряй ее. Понял? Придет хорошее время — в музей ее, может, отдашь. Представляешь? Музейный зал, а в нем, в середине самой, стенд стеклянный, прозрачный. И там, на бархатной мягкой подушечке, эренбурговская, давнишняя, от руки, между прочим, написанная, а вовсе не на машинке отпечатанная секретаршей, драгоценная для тебя и для всех наших граждан, справка. И надпись при ней пояснительная: мудрый старый писатель приветствовал талант всемирно известного поэта-лауреата еще на самой заре его творческой, полнокровной, очевидной для каждого, деятельности. И твоя фотография там же. Нет, две. На одной ты, поэт, в молодом еще возрасте, в нынешнем. А на другой ты уже седой, матерый, в годах. А напротив тебя, знаменитого, — фотография Эренбурга. Ты чувствуешь, как это здорово?

— Чувствую! — очень серьезным тоном ответил Мишину растроганный Кублановский и задумчиво шмыгнул простуженным, лиловато-багровым носом.

— Придут в музей на экскурсию советские дружные школьники гурьбою — салют поэту! — сказал, улыбаясь, я.

— Зайдут в музей в выходные дни, после долгих трудов, передовики-рабочие всей бригадой — привет поэту! — немедленно, в тон попав, продолжил весело Коля.

— Войдут в музей, маршируя, военные, всей дивизией образцовой, — ура поэту! — сказал, поддержав его, я.

— А заглянут в музей когда-нибудь просвещенные интеллигенты, всей толпой, — поклон поэту! — продолжил охотно Коля.

Но Кублановский не понял нашего зимнего юмора на гайдаровскую, из детства советского, старую тему.

Он думал о чем-то своем.

Шагая с нами, друзьями тогдашними, вместе к метро, он пристально, сосредоточенно смотрел почему-то, насупившись, в сторону Красной площади — и крепко, по-пионерски, прижимал, прижимал к груди, к тому месту, где, рядом с сердцем, свернутая аккуратно, целехонькая, лежала эренбурговская, о таланте кубовском, давняя справка, руку в плохо натянутой, потертой, прорванной варежке, словно давая всем твердое, молчаливое, торжественное обещание выполнить свой несомненный гражданский долг до конца.

Нос его, покрасневший вначале, потом, чуть позже, лиловато-багровый, простуженный, двигался как-то отдельно от лица, вдоль домов центральной улицы шумной столицы, вдоль стеклянных витрин магазинов, бесконечных портретов Брежнева, аляповатых лозунгов, ну прямо кораблик беспомощный из его недавно написанного и уже не единожды читанного в компаниях стихотворения, кораблик «безлюдный,

утлый», и глаза его вдруг заморгали, и он вдохновенно запел сочиненную им на ходу дерзновенную, свежую песню:

— ...лежит часовой и две звездочки белые на плечах держит, а рядом идет по мостовой товарищ Брежнев. — Так вот пел он тогда. И дальше: — В глубоком овраге росла резеда, и осень была золота тополями, а на площади Красной горит звезда, как шея Разина под топорами...

Он повернулся к нам и твердо, прямо сказал:

— Нашей стране горемычной нужно свободное слово!

— Это уж точно! — сказал, взглянув на окрестности, я.

Мы подошли к метро.

Занырнули вместе с вечерней толпой в тепло, вовнутрь.

Там, внизу, — попрощались.

Мишин поехал на «Курскую», чтобы потом, как обычно, на электричке поздней добраться до своего занесенного снегом Климовска.

Задумчивый Кублановский поехал до станции, слишком знакомой, «Университет», чтобы потом на автобусе или же на троллейбусе добраться до общежития.

А я поехал тогда прямо до «Автозаводской», чтобы, выбравшись из метро в зимний холод, пройти по улице быстрым шагом, свернуть во двор, по широкой подняться лестнице, дверь открыть ключом и скорее оказаться в уютной, просторной, пусть и временной, но своей, так хотелось мне думать, комнате.

Напоследок, не удержавшись, из любви к роскошным концовкам и в стихах, и в театре жизненном, Коля Мишин крикнул входившему в набитый вагон Кублановскому:

— Справку свою береги!

Тот обернулся на голос товарища, выразительно прижал руку в прорванной варежке теплой к своей груди, где лежала, надежно укрытая от людских нехороших глаз, эренбурговская, заветная, о талантливости его, драгоценная, давняя справка, другою рукой, отчасти торжественно, как и положено, грядущему диссиденту, эмигранту, лауреату, гражданину и патриоту, отчасти меланхолично, помахал нам, привет, мол, ребята, все в порядке, и ежику ясно, что хранить будет справку он вечно, что без справки он ноль без палочки, а со справкой он человек, — и растворился в толпе.

Вот вам — на сон ли грядущий или же для пробуждения утреннего — решайте сами теперь — история...

* * *

— Володя, представь себе, ну-ка сосредоточься, тебя очень хочет видеть Фонвизин! — воскликнул громко, с державинским одическим призывом в голосе, негромком обычно, спокойном, а ныне победном, торжественном, радостном, со значением в каждом слове своей крылами незримыми, сильными плещущей в пространстве и времени фразы мой старший, чудесный друг, выдающийся скульптор Геннадий или, просто, по-свойски, Гена Бессарабский, едва только я перешагнул порог его прохладной, уютной, мне казалось тогда, и высокой, с потолком, уходящим в небо и едва различимым снизу, словно в древнем соборе, где-нибудь во Владимире, мастерской.

— Какой еще там Фонвизин? — не сразу, поскольку был усталым донельзя, понял я, переводя в прохладе просторного помещения, в прохладе рабочей, творческой, да еще и дружеской дух и вытирая взмокшее лицо, щетиною рыжею (за дни, в которых,

как в джунглях, населенных зверюгами дикими, скрывался я от напастей одиноким скитальцем затравленным, не зная, куда податься, где голову приклонить, где прийти хоть немного в себя, по возможности отоспаться, поразмыслить о том, как мне быть, что мне делать дальше меж бед и обид, как вести себя в грозном и опасном круговороте новостей, не сулящих пока что ничего для меня хорошего, встреч, ночных бессонных радений, наваждений, гаданий, страстей, игр с огнем, неожиданных гостей, находящихся меня везде, где бы ни был я, чтений стихов, со свечами, с вином, надежд на какие-то изменения в несуразной моей судьбе), основательно, густо заросшее, нервно скомканным влажным платком.

Вторая, перенасыщенная событиями, половина московского, самого первого для меня, человека приезжего, степняка, еще не успевшего ощутить себя москвичом, основателя СМОГа, поэта с небывалой, безмерной известностью, гонимого злыми властями, отчего известность моя превратилась немедленно в славу, молодую, широкую, звонкую, непечатную, скажем так, но зато и такую прочную, что разрушить ее никому из гонителей не удавалось, зеленого, то с дождями, то с крутой синевой небес над столицей, безумного мая Змеинового, шестьдесят пятого, то есть смогистского, что ни на есть, года выдалась на удивление, в ореоле бездомии моих и мучений нешуточных, жаркой.

Солнце, вконец раскаленное, припекало так, что, казалось, вознамерилось разом прогреть и город, промерзший за зиму основательно, и людей, в нем живущих, каждый по-своему, как уж вышло, как уж сложилось, — не суди, и судим не будешь, так однажды сказано было на века, — и меня в их числе, после зимних, памятных всем нам хорошо до сих пор холодов и слякотно-льדיстого, с ветром, порывы которого силились вырвать с мясом оконные форточки и открыть все окрестные двери, дабы все просквозить вокруг, застудить, гусиною кожей нарастающего озноба все покрыть, выдуть с улиц прохожих и ворваться в квартиры, сумбура мартовских и апрельских, сизых, сырых, безумных, всяк во хмелю, коварных, неугомонных дней.

Спасибо солнцу за добрые, без всяких многозначительных недомолвок, без лишних намеков на возможные изменения в судьбе моей, несуразной, но зато и моей, а не чьей-нибудь, личной, неповторимой, потому и хранимой свыше, несмотря на все испытания на прочность, на все невзгоды, без поисков смысла двойного в каждом теплом луче, намерения.

Но я, человек впечатлительный, даже больше, слишком ранимый, отовсюду теперь гонимый, мыкался по столице без угла, без покоя, такого желанного и невозможно, без отдыха, часто без нужного всем и каждому в мире сна, был напряжен и вымотан, держался на нервах, взвинченных до предела, звенящих струнами после каждого дня, на упрямстве, одет я был, по скитальческой привычке, на всякий случай, мало ли что со мною может произойти, мало ли где могу я негаданно оказаться, мало ли где придется грядущую ночь провести, а за нею и утро, и день, и вечер, и новую ночь, бессонную, как и прежние долгие ночи, с мыслями, роящимися в мозгу воспаленном, еще, как в походе, затянувшемся, трудном, вынужденном, бесконечном, почти по-зимнему: пиджак, под ним желто-оранжевый мой джемпер, под ним рубашка довольно плотная, взмок, переодеться-то негде было мне, да и не во что, и шел к хорошему другу, скульптору, шел пешком, шел долго, в странной задумчивости, близкой к оцепенению, по улицам и переулкам центра столицы, покуда по наклонной, с холма сбегавшей внизу куда-то, безлюдной улице Архипова не спустился, миновав синагогу, к скромному, скромнее некуда, старому, тихонько, но крепко стоявшему на месте своим годами, не бросавшемуся всем в глаза понапрасну, спокойному зданию, в котором и помещалась в середине шестидесятых скульптурная мастерская.

Достигнув цели своей желанной, нет, цели заветной, так верней будет, я, разумеется, вдруг почувствовал, что устал.

Мне хотелось тогда единственного: успокоиться хоть немного, для начала, и, успокоившись, постепенно уже, ведь не сразу можно сделать это, никак не удастся, усвоил я это навсегда в те дни, отдышаться в окружении удивительно деликатных, внимательных, милых, дорогих для меня людей.

Но не тут-то было. Какое там, и откуда оно, спокойствие!

Отдышаться тоже, хоть чуточку, признаюсь вам, не удалось.

Бессарабский, пророчески радостный, вдохновенный, буквально светящийся изнутри таинственным светом откровений, наитий, прозрений, весь в порыве, в полете, во власти своего неразрывно связанного с чем-то явно прекрасным призыва, словно вырвавшись крупной птицей на свободу из клетки, поднявшись вешним деревом к свету из тени, мыслью, вышедшей в ясную даль, находящийся где-то в грядущем, где уже прозревал и надежды, и любовь, и веру, и явное, там, за гранью страданий, сияние, за которым светло вставала благодать, не хотел замечать многодневной моей усталости.

Он пристально, точно целитель на больного, глядящий в корень, суть недуга мгновенно угадывая, чтоб его излечить поскорее навсегда, посмотрел на меня и вдруг, ни с того ни с сего, ну а может и не случайно, сделал большие глаза. До того большие, такие пронизательные, что они, чудовищно увеличившись и стремительно округлившись, гипнотически, жарко, в трансе, сверкнув темно-огненным блеском, чуть ли, поверьте на слово, не выкатились на меня с его от природы смуглого, в обрамлении черной, смоленой, с сильной проседью, бороды, аскетического лица и вперились в меня, да так, что я невольно поежился.

— Он спрашивает меня, какой еще там Фонвизин! — укоризненно, даже с болью неприкрытой, воскликнул Гена и вдруг неожиданным рывком воздел крепкие руки, рабочие, узловатые, подвижные, обостренно чувствительные к любому, из всех, с какими ему приходилось дело иметь в трудах своих, материалу, то есть руки мудрого мастера, вдумчивого творца, создающего чудеса, сознающего их появление как нечто само собою разумеющееся, привычное, руки скульптора, с пальцами сильными, сноровистые, хватистые, музыкальные в чем-то по-своему волшебные, безусловно, с разбухшими венами, вверх. — Маша! Ты слышишь? Маша!

Из глубины мастерской, привычно лавируя между перегородками, ширмами и зачехленными, скрытыми от взглядов людских по различным, неизвестно каким, возможно, довольно простым, а может быть, и более сложным для автора творений этих причинам, загадочными, как и все, что спрятано, пусть и на время, от нас, людей любопытных, несмотря на воспитанность даже, на сдержанность, на тактичность, все равно любопытных, по-детски, пусть и так, но завесы тайн стремящихся приоткрывать, насколько удастся, насколько сей риск оправдан, скульптурами, к нам на звук непривычный Гениных восклицаний неторопливо, как в сказках добрая фея, вышла тихая, сплошь тишина, участие и внимание, спокойная и приветливая жена Бессарабского Маша.

Она не просто приветливо, но заботливо, как-то бережно, понимающе поздоровалась, вся светясь дружелюбно, со мной, ласково посмотрела на меня, одетого явно не по майской теплой погоде, измотанного, смятенного, усталого, похудевшего, повзрослевшего, и вздохнула.

Вслед за Машей к нам вышла большая, лохматая, добродушная, темной с проседью масти, с глазами человеческими собака.

Она между делом обнюхала меня, вильнула хвостом, широко, во весь рот, зевнула и фыркнула громко и коротко, как мне, этим всем озадаченному, показалось вдруг, осуждающе.

Я смутился:

— Прости меня, Гена, но никак я не соображу, о ком ты сейчас говоришь.

Бессарабский, уже подобрев, положил мне ладонь на плечо и назидательным тоном, отчеканивая слова, одно за другим, сказал:

— Фонвизин, Артур Владимирович. Старый, всеми нами, его современниками, уважаемый и давно любимый художник. Великий акварелист.

— Так он жив? — я, вмиг встрепенувшись, был искренне поражен.

— Ну конечно! И ждет тебя в гости к себе. Чем скорей у него ты появишься, тем, Володя, лучше будет, и для него, человека не очень здорового, перенесшего операцию сложную, и для тебя. Довольно большая редкость, чтобы так вот он вдруг воспылил желанием повидаться с молодым известным поэтом. Живет он уединенно. Долго и тяжело болел. Теперь ему вроде бы лучше. Да вот, пожалуйста, номер его телефона и адрес домашний, — Гена привычно потянулся к лежащей на столике возле старого телефонного, в мелких трещинках, аппарата записной, объемистой, пухлой, со вкладками всякими, книжке. — Позвони ему обязательно. Поскорее. Да прямо сейчас, если хочешь, от нас, позвони!

— Боже мой! — изумившись услышанному, только-то и сказал я. — Подожди, пожалуйста, Гена. Дай спокойно мне все осознать. Это прямо как весть неожиданная из другого, нездешнего мира. Надо же! Вот ведь как все-таки в жизни бывает. Фонвизин. Авангард. Начало двадцатого века. Новейшая живопись. «Голубая роза». Какой мастер! Я почему-то давно уже, сам не знаю, почему получилось так, видно, ум за разум зашел, ну да что теперь говорить о нелепости, что гадать, считал его светлой легендой искусства нашего русского. А он, безусловно, легенда, но еще и реальность, наш соотечественник, современник выдающийся, просто волшебник в акварелях своих, несравненных, так считаю я твердо, — жив.

— Да-да, — рассудительно, сдержанно и грустно сказал мне Гена. — Он прямо-таки случайно, просто чудом выжить сумел в трудные, для него и для всех вокруг, времена. Поразительно стойкий, цельный, очень чистый, святой человек. А какой удивительный дар! Ах, какой ведь сказочный, детский, волшебный, радостный дар! — Гена опять, похоже, занервничал, заволновался. — Ты непременно, Володя, позвони ему. Я обещал, что скоро ты сам позвонишь. И приходи к нему. Сам увидишь и сам поймешь, я знаю, кто это такой. Господи! — перекрестился он на икону в углу, — дай Бог ему впредь здоровья. Таких ведь, такого ранга, художников, мастеров, как он, раз-два и обчелся. А то и меньше. Пожалуй, такой он на свете — один.

Постепенно осознавая важность Гениного сообщения, я присел на скрипучий стул, достал пачку «Примы», слегка измятую, вынул оттуда сигарету, потом нашарил в кармане спички, потом чиркнул спичкой, взглянул на горящий огонек ее, жаркий, упрямый, подбирающийся все ближе, все поспешней к моим ощущающим этот жар, этот пыл неумный пальцам, вздрогнул невольно, поднес к сигарете краешек пламени, покачнувшийся, но рванувшийся прямо к цели, вверх, поднапрягшийся в этом быстром рывке, достигший апогея, — и закурил.

Собака, взглянув на меня понимающе, очень серьезно, подошла и легла, устроившись поудобнее, так, что я почувствовал сразу тепло шерсти плотной ее, у ног моих, близко, рядышком, на полу, потянулась и молча затихла.

— Поставлю-ка я, пожалуй, друзья мои милые, чай! — произнесла, улыбнувшись мне и Гене, а также собаке, да еще и всему на свете, благо свет этот все же хорош, уж во всяком случае здесь, в мастерской, защищенной свыше от невзгод и от бед мирских, в мастерской, с ее атмосферой благодатной, спокойной, творческой, в мастерской, цитадели старой, где всегда на душе становится хорошо, доброй феей глядя на меня и на Гену, Маша и прошла в закуток хозяйственный, вроде кухоньки, небольшой, но удобной вполне, к плите.

Я рассеянно ей кивнул.

Гена ей тоже кивнул. А потом на своем, особом каком-то, кресле-тележке подъехал ко мне поближе и уже спокойно, без всяческих восклицаний, миролюбиво, негромко и просто сказал:

— Я вижу, ты все, Володя, принял к сведению и понял.

Я покосился, пожившись, на огромного, высоченного, прямого, как правда сама, да еще и грустно-задумчивого, как воспетая им не единожды природа прекрасная русская, писателя знаменитого и человека хорошего, бородатого, с ясным умом и доверчивым взглядом, Тургенева, изваянного вдохновенным, в работе неистовым Геной.

— Может, мне к Фонвизину в гости с ребятами лучше пойти? — неуверенно, хрипловато спросил я зачем-то вдруг сам не знаю кого, то ли вставшего великаном былинным Тургенева, добродушного, впрочем, домашнего, как и все в мастерской, похожего на зашедшего на огонек, чтоб друзей навестить старинных, покалякать с ними немного, человека из наших, творческого, ненавязчивого, воспитанного, в годы бед на прочность испытанного, само собою, надежного, не из легких, достаточно сложного, но зато и всегда интересного для людей, то ли друга-скульптора. — Не будет ли это, Гена, с моей стороны эгоизмом? Такая чудесная встреча предстоит впереди, а я, выходит, один пойду. Ребята наши, смогисты, могут ведь и обидеться.

— Ну вот, пожалуйста, я так и знал, — улынулся Гена. — Узнаю Володю Алейникова. Ему тут же хочется, чтобы и друзьям-товарищам было интересно. Все ясно с тобой. Раз уж ты такой по натуре своей, то, так уж и быть, возьми с собою, пожалуй, кого-нибудь. Но кого? — он задумался на секунду. Вертикальная складка-морщинка, начинаясь от переносицы, поползла к волосам, прорезала, глубоко, свободно, размашисто, его чистый, высокий лоб. — Губанова, может? Нет, нет. Не надо. Знаешь кого? — он оживился. — Возьми с собой Михалика Соколова. Его-то возьми обязательно. Ведь вы с ним искусствоведы. Историки молодые мирового искусства! — подчеркнул он, подняв длинный палец.

— Бывшие! — уточнил я зачем-то, кратко и грустно.

— Нет! — сказал Гена очень твердо. — Вот увидишь, все образуется. Я знаю. Я в это верю. Вы оба будете снова учиться в университете.

— Спасибо на добром слове! — сказал ему искренне я.

Маша, как и положено доброй фее из сказки, а также Гениной верной супруге, да еще и внимательной, милой женщине, принесла кипяток в жестяном, большом, пышущем жаром чайнике.

Цветастый, пузатенький, маленький заварной фаянсовый чайничек, в который были насыпаны щедрой ее рукою несколько ложек черного пахучего чая индийского из желтой, полураскрытой, плотно заполненной пачки со слонем, зачем-то на пачке нарисованным, экзотическим, но еще и очень московским, узнаваемым всеми, любимым, призывающим к чаепитию всем приветливым видом своим, накрыла сверху она симпатичной пухлой подушечкой.

Принесла она и поставила на столе стаканы граненые, сахар, баранки и пряники в керамической светленькой плошке.

Мы стали — втроем — пить чай.
Хорошо мне было всегда у друзей моих Бессарабских.
И чаевничать с ними было мне, измотавшемуся, хорошо.

Гена очень любил стихи мои. Заботился обо мне.
Мы частенько вдвоем с ним беседовали.

При свече вечерней, горящей так уютно и так значительно, что не слышен был за стеною разгулявшийся ветер северный, а слышны были наши искренние, доверительные слова.

При свете дневном, прорывающемся в мастерскую из окон, струящемся по лицам нашим, заглядывающем исподволь нам в глаза.

Мы беседовали — и время раскрывалось книгою старой перед нами, двумя друзьями, и пространство то вдруг сжималось, то негаданно распрямлялось, уводя нас в такие дали, и в глубины такие, и выси, где извечные звезды вставали над судьбами нашими, разными, грустными, но и прекрасными.

После очередного из выступлений СМОГа, многолюдного и опасного по причине гонений для нас, Гена мне тихо сказал:

— А ты так читал, Володя, раскинув крыльями руки! Так читал! Я был потрясен. Я плакал. Я видел Христа.

Меня однажды он вылепил — молодого совсем, раскинувшего, крестом или крыльями, руки, читающего вдохновенно, с закинутой головою, молодые свои стихи.

Время шло — по своим законам.
По своим, неизменным, правилам.

Или, может, вовсе не шло никуда, а существовало, как положено существовать в мире, сложном настолько, что мы вряд ли скоро во всем разберемся, находящемся в нем, живущем, существующем, вопреки всем наукам официальным, всем догадкам, домыслам всем, прежним, нынешним и грядущим, как положено, говорю я, во вселенной существовать непостижной этой материи.

Ибо время, да, господа, вместе с дамами, все на свете, несомненно, материально.

Ибо время — сама материя.

Так всегда говорили древние.

Так и есть. Так и будет — всегда.

Напившись крепкого чаю с хрустящими на зубах баранками и медовыми, удивительно вкусными пряниками в мастерской у друзей Бессарабских, переписал я старательно телефон и адрес Фонвизина в записную книжку свою и твердо пообещал Гене и Маше в самое ближайшее время приехать к старому, знаменитому, ждущему встречи со мною, да еще поскорее, надо же, почему поскорее, наверное, для него это важно, художнику.

И позвонил Фонвизину.

И услышал тогда, изумляясь энергии светлой, сразу же ощущаемой в речи художника, в каждом слове, в любой интонации, приветливый, тихий голос художника, голос эпохи свершений, открытий, событий в искусстве русском новейшем, голос давней его правоты, голос подвига многолетнего, подвижничества, затворничества, голос праздника, озаряющего все труды его, все страдания, все надежды, все беды, все радости, голос таинства и волшебства.

И услышал такие слова:

— Я жду. Приезжайте, Володя!

И увидел его — каким-то фантастическим, внутренним зрением: старенького, седого, невысокого, переполненного ясным светом, в сияние рвущемся, поднимающееся над ним.

Почему вдруг увидел — не знаю.

Так случилось. Теперь — понимаю.

И былому — безмолвно внимаю.

Был он — светом искусства храним.

Был он — соткан из этого света.

Создан был — сберегать в мире свет.

Был — вопросом сплошным. Без ответа.

Отыскался лишь позже ответ.

Был — видением. На расстояние.

Был — свидетелем прежних времен.

Был — хранителем света. Сиянья.

В звездном перечне славных имен.

Дай Бог силы простым словам!

Я сказал:

— Я приеду к вам.

И вскоре к нему приехал вместе с другом своим тогдашним и товарищем верным по СМОГУ Михаликом Соколовым.

Принял нас Фонвизин приветливо.

Даже больше — очень приветливо.

Можно сказать — по-дружески.

Или — почти по-свойски.

Почему? Да кто его знает!

Видно, рад он был нам с Михаликом.

Видно, сам нуждался в общении.

Хорошем. Полезном. Творческом.

Потому и встретил он нас вовсе не как незнакомцев, неизвестно кого и откуда, но как добрых своих друзей.

Так бывает. Сам это знаю.

Не раз я такое испытывал.

Общение — как причащение.

Прикосновение бережное.

К великим тайнам души.

К загадкам сердца живого.

И даже к нитям судьбы.

Незримым порою. Но явственным.

Ощущаемым по наитию.

Общение — не событие.

Общение — озарение.

Искреннее дарение.

Мыслей. Времени. Слов.

Собеседнику. Доброму другу.

Общение — словно кров.

Посреди вселенского круга.

Сам я почувствовал вдруг, что будто бы знаю Фонвизина, которого видел впервые, долго, давным-давно.

Значит, было так суждено.

И Фонвизин вел себя так, словно мы с ним буквально вчера, даже, может, сегодня расстались, на какое-то время, короткое, разумеется, пообещав перед этим как можно скорее созвониться с ним снова и встретиться.

Прямо с порога, радуясь возможности поговорить с молодыми людьми, современниками своими, искусствоведами, смогистами и поэтами, засыпал обоих нас бесчисленными вопросами.

СМОГ! Ну так ему нравилось, что был на московских просторах наш неистовый СМОГ!

Это напоминало ему, человеку, выдавшему виды, прошедшему школу жизненную суровую, сохранившему верность своим принципам и установкам творческим, уцелевшему в невзгодах и в бедах, которых на долю его немало выпало, что же поделывать, в прежние времена, с пути своего ни разу не свернувшему никогда, каковы бы ни были всякие, даже сложные, обстоятельства, какие бы там зигзаги и петли, порой немислимые, ни вытворяла трудная, спираль свою наконец распрямившая, чтобы сызнова жить ему и работать, судьба, его собственную, прекрасную, тоже бурную, даже сумбурную, переполненную событиями, и открытиями, и наитиями, и прозрениями, вдохновенную, небывало светлую молодость.

Выставки. Сколько их было — и в Москве, и, конечно, в Питере, когда-то, в начале века двадцатого, сколько их, выставок авангардной, новейшей живописи, потрясали умы и сердца российской, с трудом привыкавшей к новизне этой праздничной публике!

Чтения. То стихов, то прозы. Авторы слушали внимательно, даже восторженно, принимали их творчество или решительно не принимали, но слушали, размышляли, стараясь понять, приветствовали появление их долгожданное, желанное перед людьми.

Объединения разные молодых, интересных, ищущих свои дороги в искусстве современном, способных, нередко талантливых, ослепительно, изумительных, русских, наших, не французских или немецких, нет, отечественных, собравшихся под знаменами творчества, щедрого, свободного, только так и никак иначе, художников.

Кипение жизни. С выплесками через край. Кипение. Бурное — это мало сказать. Стремительное. Клокочущее. Восхитительное.

Страсти. Как же без них!

Еще и какие! Нешуточные.

Страсти — везде и во всем.

Огненным колесом —

по городам и весям.

С безднами. С поднебесьем.

С ворохом новостей.

Сколько их было, страстей!

Схватки между различными, враждовавшими между собою, напоказ, а на самом деле занятыми трудами своими, с врагами мнимыми дружившими группировками.

Футуристы. Бурлюк. Маяковский.

Гениальный, тишайший Хлебников.

Крученый-верченый Крученых.

И прочие. Футуристы.

Подлинные артисты!

Размалеванная щека.
 Взгляд, уставленный в облака.
 Жесты. Выкрики. Эпатаж.
 Обыватель, входящий в раж.
 На бумаге шершавой — книги.
 Информация — в каждом миге.
 Что ни вечер — парад планет.
 Живописец. За ним — поэт.
 За поэтом — с боку припека.
 Грустный взгляд молодого Блока.
 Северянин: вино, цветы.
 Над Невою — дворцы, мосты.
 Над Москвою-рекой — сады.
 Ночи белые у воды.
 Грозы летние над Кремлем.
 Слово, вставшее за числом.
 За кометою — бурь череда.
 Голос Хлебникова? Ну да.
 Революция? Вот беда!
 Багровеющая звезда.
 Но — шампанского в свой бокал.
 Но — букеты. Страстей накал.
 Страсти — всюду. Ну впрямь — напасть?
 Радость. Праздничность. Весть. И власть.
 Власть. И — подлинность. Весть. И — честь.
 Вот что — было. И вот что — есть.
 Есть — искусство. Его творцы.
 Есть — новаторы. Храбрецы.
 Есть. Останутся. Навсегда.
 Не забудутся — никогда.
 В каждом имени — свет и суть.
 В каждом времени — взлет и путь.
 В каждом пламени — прок и жар.
 В каждом знамени — век и дар.
 «Бубновый валет». — «Ослиный хвост». — «Голубая роза».
 Воображение. Празднество. Поэзия, а не проза.
 Мастерство. Торжество вдохновения.
 Присутствие волшебства.
 Вечные дерзновения
 Шлейфом сквозь век — молва.

Друзья. Золотые. Надежные.
 Верные. Настоящие.
 Прославленные художники.
 Чудеса в искусстве творящие.
 Истовое горение.
 Что там? Века? Мгновения?
 Не для таких — старение.
 Не для таких — забвение.

Драгоценнейший, незабвенный друг в года молодые Миша Ларионов, свыше отмеченный человек, наделенный даром удивительно щедрым, свежим, непокорным, великий художник!

И Фонвизин тут же, взволнованный тем, что нам увлеченно рассказывал, отправлялся за перегородку, где высокими штабелями, нет, скорее внушительной горкою, достояющей почти до светлого, невысокого потолка, лежали большие, тяжелые, прочные папки с его собственными акварелями и прочими, разных авторов, созданными в былые, добрые времена, для него дорогими доселе и ценимыми им все более, все страстнее, произведениями нашего авангардного отечественного искусства, им собранными когда-то и тщательно сохраняемыми, — и вытаскивал вдруг оттуда дивные, слова другого не подберу я, маленькие, да удаленькие, как говорят в народе, это уж точно, можно так вот сказать, жемчужинами теплыми оживающие на глазах моих, изумленных явлением чуда средь белого московского дня, на склоне жаркого мая, воочию увиденные вот здесь, рядом, холсты Ларионова.

Ранний, еще тираспольский, период его — пейзажи импрессионистские, легкие, воздушные, многоцветные.

Потом — пейзажи уже московские, экспрессивные, лаконичные, с удивительно метко схваченным, разнообразным, городским, импульсивным движением, — конные чьи-то выезды на фоне ампирных, желтых, с колоннами белыми, домиков, человеческие фигурки, приметы огромного, древнего, с лицом своим, узнаваемым немедленно, многогранного, полнозвучного, с различаемой чутким слухом художника, к зрению подключенным, полифоничной, как у Баха, пленительной музыкой холмистого, чуть лубочного, пряничного, леденцового, ярмарочного, торгового, дворянского, делового, сказочного, в садах Семирамидиных, с башнями узорчатыми, в изразцовой пестроте, в пустоте переулков, блеске стекол оконных, в снегах или в лиственном шелесте, города, заметки для памяти беглые, смещенья пятен, штрихи, акценты, символы, знаки, слегка размытые, вроде бы, но, вместе с тем, и точнейшие, обобщенные и вовлеченные в общее, непрерывное, круговое, сплошное движение.

Потом Фонвизин показывал нам свои акварели.

Зазвучали они — свидетельствую — заговорили, запели.

Задышали тайнами давними.

Дивной музыкой отозвались.

Были вещи не просто славными.

Уникальными оказались.

Боже мой! Сколько их! Фантастика с волшебством, уютным, домашним.

День сегодняшний впал в прострацию. Оказался он днем вчерашним.

Перепутал года, столетия. Пообщаться успел с грядущим.

Заглянул на бегу к товарищам, в эмпиреях чего-то ждущим.

Вещи были необъяснимыми в красоте своей несказанной.

То казались тихой скрипкою, то патетикою органной.

Было вдосталь в них светлой лирики. В них печаль головой качала.

Но мерещилась в них трагедия и эпическое начало.

Эпос был в стороне. Как будто бы. Но высвечивался порою.

За роскошеством света свежего. За романтикой. За игрою.

Эпос жил в цветовой гармонии.

В сочетаниях звонких красок.

В драме смутной. Почти в агонии.

Там, за гранью волшебных сказок.

Время твердой печатью грохнуло по листьям, где цвела наивность.
 Время ахнуло вдруг и охнуло, не надеючись на взаимность.
 Но опомнилось и одумалось, подобрело, пошло навстречу.
 Только вспыхнули, как созвездия, за окошками чьи-то свечи.
 То ли снег повалил за стенами, то ли дождь прошумел по крыше.
 За признаньями откровенными встали речи — и стало тише.
 На свирели своей наигрывать попыталась весна благая.
 Вслед за летом явилась осень, осознать себя помогая.
 О сезоны, о замки! Чары.
 Озарения. Бес в ребро.
 Путешествия. Ненюфары.
 За Верленом — Артюрем Рембо.
 Карнавальная заваруха.
 Эпохальная кутерьма.
 Полумаски. Паренье духа.
 Гипнотическая чума.
 Пир. Застолье. Напитки. Яства.
 Шаг до гибели. Шрам у рта.
 И неслыханные богатства.
 И повальная нищета.
 Цирковые — сквозь сон — мотивы.
 «Голубая роза». Гроза.
 Близко. Рядом. Но грезы — живы.
 И слезами полны глаза.
 Доставал из своих запасов мастер старый и более поздние акварели. Портретов серии. Замечательные. Серьезные.
 С тем «чуть-чуть», что искусство делает. С неким сдвигом — в сторонку, к сказке.
 С неким жестом — в сторону детства. С шагом, сделанным без опаски.
 К чуду. К тайне. К тому, что движет и светилами, и сердцами.
 Что, как бусы, мгновенья нижет на иглу — и уйдет с концами.
 Если, впрочем, его не вспомнить.
 Не сберечь, как подарок странный.
 Если душу им не заполнить.
 В яви — может быть, окаянной.
 В той действительности, что хочет растоптать все приметы чуда.
 Что талдычит свое, бормочет, что твердит свое — отовсюду.
 Не удастся ей утвердиться в настоящей, великой яви.
 Той, с которою сердце биться не устанет, молчать не вправе.
 Потому-то в цветах и в лицах схожесть есть с чем-то свыше данным.
 И оправдано это жизнью. И не кажется это странным.

Показал нам Фонвизин портрет, удивительно сильный, Татлина, увлеченно и отрешенно играющего на бандуре и задумчиво что-то поющего.

Татлин был его давним другом.

— Поразительно был талантливый человек! — говорил Фонвизин. — Принято ведь не случайно в народе таких называть — мастер на все (заметьте, всего-то их две, а кажется, как будто бы много их, рук, способных творить сплошные чудеса на земле), золотые, полагаю доселе, руки. Живописец отменный просто. Фантазер. «Тайновидец лопастей», как сказал однажды о нем проницательный друг его Хлебников. Уникальный, сверхсовременный, далеко наперед глядящий, прозревающий там такое, что дру-

гим и не снилось, конструктор. А как он, под настроение, иногда, отрешившись от всех и всего вокруг, погружившись в свои мысли тайные, в чувства, оживавшие в сердце, пел! Сам он сделал себе бандуру. Наподобие старых, но только звучащую так необычно, что порой знатоки гадали, что же это за инструмент. И с нею, своею бандурой, буквально пешком, как встарь бродячие бандуристы ходили по Украине, обошел не спеша всю Европу. Даже, кто мог бы подумать, пел он перед английской королевой старинные песни украинские, древние думы. И за пение это ею был вроде бы удостоен то ли какого-то звания, то ли высокого титула. С Хлебниковым дружил. Очень его любил. Принимал его, понимал и ценил, как никто другой. Много в них было общего. И прежде всего — горение. Творческое. Великое. Щедрое. Многоликое. На заре советской, диковинной, непривычной для большинства и ужасной для многих, власти, был Татлин одним из ведущих, передовых, авангардных, само собою, художников. Был великим изобретателем. В отличие от бесчисленных, безликих приобретателей. О чем совершенно точно говорил гениальный Хлебников. Изобретатель — это новых высот обретатель. За всех современников, может быть, перед Богом лучший представитель. Чего, согласитесь-ка, стоит одна его знаменитая, ни на что не похожая, башня Третьего, да все равно ведь, какой он по счету, хоть сотый, интернационала. А «летатлин» его уникальный! Тяга к небу в крови была у него, человека таинственного, в своем роде, наверно, единственного. Другого такого я не встречал никогда и не знал. Много мог бы еще он сделать в искусстве нашем. Но стали его зажимать. Хуже: буквально травить. В условия невыносимые в итоге его поставили. Сопrotивлялся Татлин гонениям и невзгодам, как мог. Но загнали в угол редкостного человека. Он замкнулся. Стал нелюдимым. Сторонился сборищ советских. Жил затворником. Выживал, как умел. Годами держался. На упрямстве, на воле своей. Но бывали и у него состояния просто аховые. Отчаяние — штукавина ужасная. Безысходность измучит кого угодно. Любого титана изранит грызущая сердце тоска. Ведь работал он — на века. Но работать ему — не давали. Сознательно — уничтожали. Принижали его значение, унижали охотно его. Угрожали расправой скорой. Счеты с ним сводили зачем-то, всю сворой, и власти кровавые, и приспешники их услужливые, нечисть всякая, псевдохудожники, борзописцы. Татлин страдал. Он даже хотел пожечь все свои произведения, чтобы «им», как он выражался, то есть хищным советским властям, ничего вообще не оставить. Как-то все-таки уцелел. Не убили его, не сгноили в лагерях. Поступили — страшнее. При жизни — словно забыли. Нет и не было такового! — где-то, видно, постановили. Всех устроило это жестокое, приказное распоряжение. Татлин вроде бы жив — но его вроде нет. Живет — без движения: ввысь и вдаль, как в былые годы, вглубь и к сути. Живет — молчит. Прозябает в своем закуте. Наплевать, что душа кричит. Захотели — постановили: человека такого — нет. Дышит все-таки? Затравили? И не мил ему белый свет? Ничего. Перебьется. То-то рад небось, что остался жив. И к чему нам его щедроты? И его — к небесам — порыв? Так, наверно, рассуждали. Осуждали. Корили. Впрок. Золотые померкли дали. Татлин жил, словно между строк — мысль крамольная, откровенье — в примечаниях чьих-то. Был — воплощенное дерзновение. Был — тудягою. Жизнь — любил. Для театра довольно много он работал. Слава его не погибла. Ведь дар — от Бога. В этом — радость и торжество. Написал я его, играющим на бандуре, задумчивым, грустным. Написал его я — выживающим. Уцелевшим. Хранимым искусством. Жил он даже не уединенно, а вполне, полагаю, сознательно, закрыто, слишком уж замкнуто. Возможно, в этом затворе легче было ему дышать. А может быть, он привык с годами всех сторониться. Живая легенда? Конечно. Пускай не для всех. Но — живая. Одинокий, отважный, ранимый, таинственный человек. Опередивший свой век. Умер он до боли нелепо. Отравился консервами рыбными. Лежал у себя в мастерской. Мучился. Был не в силах подняться, позвать

на помощь. Никто к нему не зашел. Никто его, тайновидца легендарного, изобретателя уникального, человека леонардовского размаха и возможностей необычайных, бесконечных, тогда не спас. Так и помер он — в муках, в своем затянувшемся одиночестве. Трагедия? Безусловно. К сожаленью, одна из многих. Победа над смертью? Да. И — над властью. И — над забвением. Добра победа — над злом. Победа искусства подлинного — над мирскою нечистью всяческой. Торжество несомненное прави вселенской над навью. Великое сияние истины. Яви. Правоты высочайшей труда. Веры. Любви. И надежды. Так скажу я сегодня вам. Татлин был моим другом. И этим тоже все, наверное, сказано. Человеком был он — редчайшим. По всем своим дарованиям. По достоинствам всем человеческим. Тайновидцем. Хлебников прав. Тайновидцем. Тайну его жизни трудной и несравненного, в мире нет ничего подобного да и вряд ли будет, искусства — всем придется долго разгадывать. Вот смотрю я на этот портрет — и голос Татлина слышу, поющего думы народные. О чем они, эти думы? О многом. Нет, обо всем, что дорого человеческой душе и дорого сердцу. О том, что останется в памяти навсегда. Лучше всех сказал об украинских песнях Николай Васильевич Гоголь. Загляните в его сочинения. Там найдете вы эту статью о песнях. Невероятное, точнейшее понимание того, что и есть искусство. Татлин об этом — ведал. Видел — сквозь время. Понял — многое из того, что лишь сейчас начинает, понемногу, слегка, открываться человеческим, ищущим верные маяки на пути в искусстве настоящем, зорким глазам.

Фонвизин и в самом деле разговаривал с нами так, словно были мы с ним знакомы и даже дружны, пожалуй, почему бы и нет, бывает и такое, давным-давно.

Мы с Михаликом Соколовым переглядывались порою — и внимательно слушали старого, но зато молодого душою, это поняли мы, художника — и смотрели, смотрели, смотрели, восхищенно, во все глаза, на сокровища все, которые извлекал он на свет столь щедро, столь радушно и столь открыто, что нельзя было им по-детски непрерывно не изумляться, невозможно было сдержаться и не ринуться, вслед за мастером, несомненным добрым волшебником, в это празднество небывалое, в этот радостный карнавал, в это пиршество духа, с такими ослепительными высотами и глубинами удивительными, что кружились головы наши от роскошества несказанного всех, возможных и невозможных, бесконечных, как жизнь сама во вселенной, цветов и красок, пятен, линий, штрихов, акцентов, недосказанностей, прозрений, вспышек радужных, тихих, вторами к основным тонам прозвучавших, словно в музыке, гармоничной, полнозвучной, полутонов, звездных россыпей, отражений всех свечений и всех сияний, всех туманностей, всех галактик, на холстах, на листах бумаги, на картонах, на всем вокруг, на оконных стеклах, на стенах, на взволнованных лицах наших, — и восторженно, благодарно принимали мы эти редкостные, непредвиденные дары, чтобы с майской этой поры и доселе целебный свет нам сберечь, сквозь невзгоды лет, чтобы судьбы он озарил, чтоб сквозь время он говорил о таком, что и впредь спасет отголоском былых красот.

Незаметно как-то, войдя в ритм особый, как будто в транс, показал нам Фонвизин множество созданных им в различные годы, порою нелегкие для него, человека, далекого от политики, от суеты, от всего, что мешало творчеству, но затронувшие и его жутковатой тенью своей и заставившие когда-то, как пришлось уж, но выживать, порою в более светлые, поспокойнее, вроде бы с брезжащей надеждой на изменения к лучшему, кажется, все ведь, согласитесь, возможно, годы, чудных своих акварелей.

Небольшой, даже вроде бы маленький, коренастенький, в твердых очках со стеклами, чем-то похожими на лабораторные линзы, улыбающийся, по-домашнему, про-

сто и доверительно, хотя в этой улыбке приветливой была еще и загадка, со своими спокойными, сдержанными, размеренными движениями, почти бесшумными, тихими, как сон, шагами по комнате, плавными, неторопливыми, как взмахи крыла расправленного у птицы, которую держат потоки воздушные, жестами, светящийся чистотой светлейшей, щедрой души, напоминал он то ли волшебника, то ли доброго гнома, то ли еще кого, но уж точно — из сказок.

И жена у него была славная, улыбающаяся по-доброму, по-домашнему, тоже сдержанная в движениях, плавно движущаяся по комнате, прислушивающаяся к речам своего мужа, к сбивчивым нашим рассказам деликатно, тактично, привычно не вмешиваясь ни во что, словно слегка отодвинувшись от нас, наблюдая за нами вроде бы со стороны, из фонвизинской тени, — которая была на поверку, если приглядеться, вовсе не тенью, но самым что ни на есть настоящим, негаснущим светом, — но все абсолютно слышащая, все видящая и все надолго запоминающая.

Она угостила нас хорошим, с домашними сладостями вкусными, свежим чаем.

И за столом, смущенные и взволнованные таким приятным гостеприимством, продолжали мы, слово за слово, по-домашнему, задушевно и неспешно, куда ведь спешить, если сладилось все, беседовать с удивительной этой четой.

Несколько помолодевшему с нами, его молодыми гостями, желанными, в радость бывшими, да к тому же еще и смогистами, то есть столичными знаменитостями шестидесятых, Артуру Владимировичу так нравилось, что мы, несмотря на сложности брежневского безвременья, сумели объединиться, сплотиться вместе, создать свое содружество творческих, вот что важно, прежде всего и во все времена, людей.

Мое тогдашнее мнение — и нынешнее, и всегдашнее, скажу напрямую, — о том, что среда, по словам Чаадаева, отзывчивая, лишь в такой ведь слово звучит, и это верно, очень важна, целиком совпадало с его давним, собственным мнением, причем опирался он в этом на собственный опыт.

С горечью вспоминал он, как тяжело, в былые годы невзгод повалых, пришлось ему жить в провинции, вынужденно, конечно, долго, словно в изгнании, в стороне от событий всех, вдалеке от всех многочисленных друзей его и знакомых.

Отчасти это отшельничество и спасло его в пору сталинских репрессий. Полузабвение ужасно. Можно сказать смело: ему повезло. Выжил он. Уцелел.

Но сколько же золотых поистине, именно так и никак не иначе, возможностей дружеского, полноценного, творческого общения безвозвратно были утрачены, и годы ушли, растаяли, их теперь ни за что не вернуть.

Разбросало его друзей молодости по всей планете, по разным странам. Страны эти для всех оставшихся здесь, на родине, по причинам, всем понятным, закрыты наглухо. Никогда туда не поедешь. Никого там не навестишь.

Многих и нет на свете.

Друг любимейший, верный, Миша Ларионов уехал в Париж со своей женою Натальей Гончаровой, уехал, чуя наперед все невзгоды, все беды, что сгубили былую Россию.

Ах, сколько же у него было собрано древних икон, книг, различных произведений народного, несравненного, изумительного искусства, игрушек, одежды, вывесок, прялок, посуды, лубков, сколько работ художников русского авангарда!

Где теперь все это? Кто скажет?

Наверное, там, в Париже.

Где же еще ему быть?

И Гончарова, бесспорно, чудная, все это знают, просто великолепная, самобытнейшая художница.

Но друг драгоценный Миша Ларионов — это совсем иного рода явление, человек небывалый, особый.

Это был прирожденный, а также убежденный, неугомонный, артистичный, азартный, рискованный и отчаянный заводила.

Настоящий, чистой воды, как алмаз уникальный, лидер.

Его новизной поражающие, бесчисленные идеи вызвали к жизни порою целые школы, целые художественные течения.

И славные годы дружбы с ним для Фонвизина так и остались доселе самыми лучшими, дорогими воспоминаниями.

Вот о чем, если вкратце, пунктиром, и не более, нынче сказать, без подробностей, без деталей характерных, без ощущений, мимолетных и более стойких, от всего, что вставало вокруг ореолом светящимся, шлейфом возникало, тянулось вдаль, воскрешало связи незримые, укрепляло духовные нити, возвышалось, подобно сиянию, над словами, над акварелями, порывалось вернуться назад, уводило куда-то вперед, к неизведанным высям, дышало правотою искусства, когда-то, майским, солнечным, жарким днем, в середине шестидесятых, говорил с нами добрый волшебник и великий художник, Фонвизин.

Я надеюсь, что, может быть, в будущем, если это удастся, кто знает ведь, как ведет за собою речь, как мои появляются книги, я и сам не знаю, и только жду смиренно голоса свыше, звука жду всегда изначального, за которым приходит вся музыка, ритм приходит, пластика, строй, чтобы внутренним зрением видеть книгу, словно соты пчелиные, чтобы следовать вновь за речью, и она-то сама и сложит книгу новую, соберет, образует единство некое звуков, красок, мыслей и слов, я еще расскажу о своем общении с ним поподробнее.

А пока что, покуда нынешняя продолжается книга, и в ней тоже все же кое-что сказано, согласитесь со мной, — вот о чем.

Еще во время порывистых, импульсивных, то с отступлениями куда-то в далекое прошлое, то с новыми возвращениями в настоящее, то с неожиданными обобщениями и того и другого, длящихся на протяжении светлого, жаркого майского дня, с просмотром работ, с чаепитием неспешным, совсем домашним, с вопросами и ответами бесчисленными, наших бесед, я заметил, слегка смутившись и несколько озадачившись, гадая, к чему бы такое повышенное внимание к особе моей, что Фонвизин все время ко мне присматривается.

А когда мы уже собирались уходить и тепло прощались в прихожей с четой лебединой Фонвизиных, — именно так, лебединой, такими они для меня и когда-то были, и остались доселе в памяти лебединой чудесной четой, — сквозь года, с их сумбуром и бредом, с изнурительной хмарью бесчашья, с бестолковщиной междувременья, — подошел он ко мне и сказал:

— Володя, пожалуйста, вы приходите ко мне. Поскорее! Я очень хочу, поймите меня, написать ваш портрет!

Я сказал, что приду непременно.

И пришел к нему вскоре снова, созвонившись, уже один.

Я знал, что Фонвизин долго и тяжело болел.

Ему, художнику, зрение для которого было всем, было первой необходимостью, было жизнью, было работой, угрожала полнейшая, страшная, безысходная слепота.

Но ему повезло, по счастью, может — чудом, а может быть — выпало так ему по судьбе, — ему, человеку, живущему творчеством и не мыслившему себя, на мгновение даже, без творчества, сделали операцию глазную врачи, сложнейшую, удачную, и теперь он снова обрел зрение.

Очень долго был он лишен возможности рисовать.
А бездействовать — это трагедия, хуже гибели, для него.
Всю жизнь он только и делал, что рисовал, рисовал.
Работал он постоянно, работал целенаправленно.
Трудился. Все вещи — в труде.
И — верил своей звезде.
В этом было его спасение.
В этом вся его жизнь была.

И теперь вот, слава Создателю, после долгого перерыва он, как и прежде, сизнова намеревался работать.

Был настроен весьма решительно.

Втянуться в труды, войти в рабочий спасительный ритм как можно скорее, во что бы то ни стало, взять себя в руки, взять в руки, к работе рвущиеся упорно, кисти и краски, радоваться возвращению зрения, рисовать!

Об этом он только и думал.

Так он мне об этом сказал.

И первой его работой, после дара свыше чудесного, для него, возвращения зрения, — должен был стать мой портрет.

Фонвизин вначале, подумав, походив немного по комнате, побурчав что-то, может — волшебное слово знал и его произнес, призывая удачу к себе, человеку, обретшему зрение для трудов своих, и, возможно, для меня, человека, которого собирался он рисовать, усадил меня, очень точно и умело, напротив себя, так, чтобы свет, врывавшийся к нам из окна, из мая, солнечного и жаркого, золотистый, прозрачный, падал на лицо мое, посмотрел на меня одобрительно, дружески улыбнулся, слегка сощурившись, и остался доволен вроде бы всем: и светом, и маем, и мною, в этом свете, с моей рыжиною в шевелюре, с глазами зелеными, непокорными скифскими скулами, крупным носом, ключицами острыми, лбом высоким, плечами широкими, стройным, очень худым, в ту пору, и совсем еще молодым, но уже знаменитым поэтом.

Приготовил потом акварельные краски, мягкие, легкие кисти.

Закрепил на твердой подставке, несколько под углом, лист бумаги перед собою.

И сказал мне:

— Володя, пожалуйста, почитайте мне, прямо сейчас, да побольше, свои стихи! Они мне, поверьте на слово, запали в душу и так, с каждым днем все сильнее, нравятся! Вы просто сидите рядом и читайте, сколько хотите. А я стану слушать вас внимательно — и рисовать.

И стал я ему — читать.

Иногда, приоткрыв глаза, я посматривал на Фонвизина — и с изумлением видел, что он, держа на отлете кисть в небольшой, но крепкой и привыкшей к работе руке, вслушиваясь в стихи, льющиеся потоком, возникающие спонтанно, потому что читал я тогда не с листа, но по памяти, просто что в голову вдруг придет, что вспомнится прямо по ходу привычного чтения-пения, свойственного когда-то мне в молодости, в период СМОГа, в шестидесятых, — и сейчас, в моих зрелых годах, видимо, неповто-

римого, давно уже отзвучавшего, толком никем не записанного, так что осталось только, рассуждая о нем, вздыхать, да рукою махнуть, мол, чего там сожалеть об ушедшем, ну, было, да куда-то со временем сплыло, да смотреть за окно, где клубятся над Святою горой облака в киммерийских осенних высотах, да кружится вокруг золотая, с беспокойным багрянцем, листва, да какая-то птица, упрямясь, на заре все поет и поет, не желая смиряться с грядущей, подступающей, не за горами, из-за гор, из-за бурых и сизых, серебром полыни подернутых и туманом лиловых не скрытых от усталого взгляда, холмов, ожидаемой, словно сражение неизбежное, новой зимой, — не просто вошел в состояние, близкое к моему, то есть в транс, но буквально врос, как древо, с корнями, в слух.

Сам он стал — абсолютным слухом.

Ему важен был — звук, да, звук, звук тогдашний моих стихов.

Он так внимательно слушал, что я, перед ним читающий в кои-то веки стихи свои, не на шутку разволновался.

Но читал и читал опять, уже и сам, незаметно втянувшись в звучание-пение давних своих стихов, как и всегда в ту пору, сызнова их, возникающих из сердца и ясного света, переживая при чтении, читал, находясь в своем, внутреннем, сокровенном, открытом для песен, мире, в своей, такой, какова была она встарь, да и впредь будет, надеюсь, музыке.

Фонвизин все слушал и слушал.

И потом я увидел, что к слуху его подключилось уже и зрение. Глаза, напряженно глядящие на меня, прямо-таки сверкнули внезапно из-под очков.

Он — прозрел, я уверен был в этом, нечто важное для себя.

И вот рука его плавно, свободно взмахнула кистью, и на бумагу белую легло цветное пятно.

Потом — еще взмах рукою, широкий, еще и еще.

Плавные, дугообразные, мастерские, точнейшие, одно за другим, движения.

Раз — и цветная точка вспыхнула на листе.

Раз — и цветастый потек.

Раз — и воздушный штрих.

Раз — и два отдельных пятна разноцветных вместе сливаются.

Но я стоял перед выбором — или мне наблюдать за работой художника, или все же читать/продолжать стихи.

И я читал, увлеченный стихией речи, ведущей меня за собою, дальше, лишь изредка, краем зрения, все-таки замечая, что Фонвизин, весь там, в бескрайней, расплеснутой по квартире, словно свет золотистый, музыке молодых моих, полнозвучных, колдовских отчасти стихов, но и здесь, перед белым листом бумаги, вроде бы медленно, незаметно, исподволь как-то, естественно, без напряжения чрезмерного, тоже колдует над акварелью.

Думаю все же, что некий взаимообмен энергиями, благотворными, жизнелюбивыми, таинственными, тогда образовался у нас.

Энергию — не заметишь, как, положим, заметить можно цвет, или взгляд исподлобья, или какой-то предмет.

Энергию — не услышишь, как звук, любой, из бесчисленного числа их в звучащем, вибрирующем, распахнутом слуху мире.

Энергию — не предскажешь.

Ее можно только почувствовать.
Возникает она негаданно.
Существует сама по себе.
Независима от остальных, разнообразных энергий.
Но и прочно связана с ними.
Как? Никто не ответит на это.
Но связь эту — мы ощущаем.
Как и каждую, по отдельности, ощущаемую энергию.
Словом, энергия — тайна.
Постижение ее — впереди.
Все у нас — не случайно.
Все — и в памяти, и в груди.

Токи, сплошным потоком исходившие от меня, от голоса моего, воспринимал он чутко, усваивал их мгновенно — и тут же, в ту же секунду, посылал мне уже свои токи, и я ощущал, всей кожей, и хребтом, и всем естеством своим, прикосновение неких, световых, не иначе, лучей, и мы с художником словно перекидывали друг другу свою личную, щедрую, собственную, но способную вдохновлять и поддерживать многих, энергию: я ему — звучащее слово, речь мою, он мне — слух свой и зрение, и возникало в итоге ощущение общего транса, и моего, и фонвизинского, да так ведь оно и было, и пленительное, удивительное, ни на что не похожее чувство свободного, только так, восхитительного полета во времени и пространстве сопутствовало непрерывно мне в моем тогдашнем, сроднившемся с бесконечную музыкой чтении, и нам как-то очень приятно, по-человечески, просто хорошо было, нет, чудесно, замечательно находиться наедине друг с другом, друг напротив друга, рядом, быть обоим — в работе, в труде, и я чувствовал, что таящаяся в стихах моих сила внутренняя помогает сейчас художнику, настраивает его на нужный, особый лад, вдохновляет его, окрыляет, и он работал, работал, увлеченно, самозабвенно, и точно так же тогда, весь во власти звучащей речи, я читал, читал и читал.

Читал я долго. Не знаю сколько. Может быть, час. А может, и значительно дольше. Конечно, дольше.

И ровно столько же времени работал тогда и Фонвизин.

И вот, представьте себе, именно в тот назревший непредвиденно как-то миг, когда я внезапно почувствовал, что уже не просто слегка утомился, а очень устал, он сказал решительно:

— Всё!

И отложил кисть.

Я, усталый, молча сидел напротив него — и, не сразу привыкая к молчанию этому, приходил помаленьку в себя.

Фонвизин взгляделся пристально в свою довольно большую, только что им написанную, свежую акварель.

И сказал, по-рабочему, просто, обращаясь ко мне, смотревшему на него:

— Получилось, Володя!

И сказал, еще приглядевшись к акварели:

— Да, это вы!

И позвал меня сразу к себе:

— Идите сюда. Посмотрите!

Я встал, ощущая себя как на палубе корабельной, когда море штормит, и людей донимает жестокая качка, уставший от всей отзвучавшей, вызванной к жизни мною, вроде бы отодвинувшейся от меня ненадолго, на время, неизвестно, впрочем, какое, и меня не покинувшей музыки, музыки навсегда, и подошел к нему.

И увидел великолепную фонвизинскую акварель.

Я увидел на ней себя, с закинутой головою, с глазами полузакрытыми, читающего стихи, вдохновенного, молодого, в золотистом свете, на склоне мая, в конце весны, на грани нового лета.

— Вот, Володя! — сказал мне Фонвизин. — Вы так хорошо мне читали. Это был целый мир, звучащий. Кажется, мне удалось понять его. Вы настоящий поэт, поверьте мне. Вы поэт от Бога. И я нарисовал вас таким вот — настоящим, большим, я знаю это твердо, русским поэтом.

Он хотел подарить мне эту превосходную акварель.

Радость, чистая детская радость, от того, что я в одночасье стать могу обладателем этого замечательного портрета своего, на какой-то миг жарким светом прихлынула к сердцу.

Но я, тряхнув головою, все же преодолел блаженный этот порыв.

Я смущенно и в то же время решительно, пусть и со всей возможной тогда для меня деликатностью, отказался.

— Возьмите работу, Володя! — упорно меня уговаривал, разволновавшись, Фонвизин. — Вы ведь меня окрылили. Я теперь наконец снова буду рисовать! Я уже это чувствую. Нет, я это уже твердо знаю. Это — ваша работа. Возьмите. Это — вам. Я дарю ее — вам.

— Огромное вам спасибо, дорогой мой Артур Владимирович! — сказал я. — Пусть эта работа побудет у вас. Я сейчас бездомничаю. Впереди — не просто неопределенность полная, но скорее полнейшая неизвестность. Акварель эта — чудо, и только. Первокласснейшая. Волшебная. Драгоценна она для меня. Где мне ее хранить? Жилья своего, увы, нет у меня в Москве. Да к тому же скоро я, вынужденный искать от властей защиты у людей, которые мне помогают, кто как, по возможности, благодарен я всем им за это, уезжаю на юг, в экспедицию.

— Но потом, хоть когда-нибудь, вы ее возьмете себе? — спросил у меня Фонвизин.

— Потом, когда все у меня, даст бог, уладится в жизни, — может быть, и приму ее от вас. Но пока что — пусть находится здесь она, у вас, в доме вашем, вместе с другими работами вашими.

— Ну хорошо, — согласился Фонвизин. — Пусть ваш портрет пока что здесь, у меня, в сохранности полной до нужного времени остается. Но вы, пожалуйста, помните, что акварель — ваша.

— Не сомневайтесь, Артур Владимирович, — сказал я. — Буду помнить. Всегда буду помнить.

В этот день у него я остался надолго, до позднего вечера.

Поговорить удалось нам на закате весны — о многом.

Было двадцать седьмое мая Змеиною, шестьдесят пятого, небывалого, по лавине событий, года.

Из университетского, скучного, но пристанищем временным бывшего и зимой, и весной, общежития, меня, из-за СМОГа отчисленного со скандалом из МГУ, разумеется, с треском, выгнали.

Ночевать в Москве было негде.

И опять помогли мне добрые, относящиеся ко мне хорошо, я верил, Герасимовы, генеральская, понимающая, что к чему в этой жизни, семья, — и на короткое время вернулся я в полюбившуюся мне симпатичную комнату в коммунальной скромной квартире на Автозаводской улице.

Ко мне из Кривого Рога, навестить меня, поддержать внука, вскоре по просьбе моей мамы, Марии Михайловны Железновой, преподавателя русского языка и литературы, педагога от Бога, приехала бабушка, горячо любимая мною с детских лет, Пелагея Васильевна Железнова, редкой души и великих свойств, и способностей, и достоинств, святая женщина.

Потом, в начале июня, она, повидавшись со мною и убедившись в том, что, несмотря на всякие невеселые изменения в жизни, я и жив и здоров, уехала, светлая, мудрая, обратно на Украину, увозя с собою письмо мое к родителям и заверения, что я, несмотря ни на что, непременно восстану из бед.

А рано утром, четвертого июня, мы с другом, по СМОГУ, по судьбе, допускаю вполне и гадаю, так ли, сейчас, Михаликом Соколовым уехали на машине грузовой через всю Россию, все южнее, к теплу и свету, в археологическую, дабы там на совесть трудиться, во славу науки отечественной, экспедицию на Тамань.

И началось мое лето незабвенное шестьдесят пятого — ну а с ним и одна из важнейших моих, так я считаю, книг.

Потом в моей жизни событий было хоть отбавляй, год проходил за годом, превращаясь в десятилетия, но я, почему — сам не знаю, и не знает никто, если этого сам не знаю доселе я, выживший, уцелевший в невзгодах, так и не приехал к Фонвизину за своим превосходным портретом.

И однажды зимой, как-то днем, поглядев на снег за окошком в серебристо-сиреневой дымке то ли хмари приморской, то ли затянувшегося тумана, вроде смога, ни больше ни меньше, и припомнив былые года, позвонил я все-таки, так, наобум, наугад, будь что будет, его сыну Сергею Артуровичу, которого смутно помнил со времен визитов к Фонвизину и бесед с ним, тоже художнику.

Он как раз в это время, так вышло, так совпало все, разобрал отцовские, многочисленные, самых разных лет написания, сохранившиеся работы.

Он порадовался тому, что у меня в девяностых вышли большие книги.

Вспомнил, как видел меня, совсем еще молодого, в гостях у отца, в середине крылатых шестидесятых.

Обещал непременно, а как же иначе, только ведь так, ему самому интересно, среди других акварелей отыскать тот давний портрет.

Просил меня обязательно позвонить ему, да поскорее.

Хотел получить в подарок мои наконец-то вышедшие, после четверти века замалчивания, на родине книги стихов.

Но я, пообщавшись с ним только по телефону, так и не позвонил ему.

Почему — я и сам не знаю.

А портрет свой, Фонвизиним созданный столь давно, — как сейчас вижу. Дивный.

Ничего. Он еще отыщется. И скорее всего, сам придет ко мне.

Как говаривал Ворошилов — прорастет. Я уверен в этом.

Время — в том, что мы создали сами.

Назовут это впредь — чудесами.

Имя времени — слово наше.

Речь, с ее животворным светом.